

В. АСТАФЬЕВ

СТАРОДУБ





В. АСТАФЬЕВ

СТАРОДУБ



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕРМЬ — 1960

Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в Сибири. Детство и юность его прошли в деревне и в заполярном порту Игарке. Затем он окончил школу ФЗО и работал составителем поездов в пригороде Красноярска. Осенью 1942 года Астафьев ушел добровольцем на фронт, сражался до конца войны. После демобилизации был рабочим ряда предприятий гор. Чусового, затем — несколько лет литработником газеты «Чусовской рабочий». Писать художественные произведения начал с 1951 года. Его рассказы и повести печатались в пермских газетах «Звезда» и «Молодая гвардия», альманахе «Прикамье», журналах «Урал», «Знамя» и в сборниках. Пермское книжное издательство выпустило сборник рассказов В. П. Астафьева «До будущей весны» (1953 г.), книжки для детей — «Огоньки», «Васюткино озеро», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот», роман «Тают снега» (1958 г.). В издании Детгиза (Москва) вышел в 1958 году сборник детских рассказов В. П. Астафьева «Теплый дождь».

Свердловское книжное издательство выпустило в 1959 году его повесть «Перевал».

Герои повести и рассказов, печатаемых в сборнике «Стародуб», — люди нелегкой судьбы, люди суровые и сильные духом. Каждый своим путем постигает правду и красоту жизни, настойчиво ищет и находит в ней свое место, достойное человека, высшее призвание которого — служить всем людям, учить их доброму, своими делами оставить о себе память будущим поколениям.



СТАРОДУБ

Повесть

Благословляю вас, леса...

А. К. Толстой

Изот Трофимович

Беленая избушка, напоминающая сказочный теремок, лет тридцать тому назад выскочила на крутой берег и замерла над самым обрывом. Глядит одним окном в неспокойную, кружливую воду Зырянхи и все наглядеться не может.

Рядом с избушкой пестрая, как шлагбаум, мачта. На вершине ее — маленький блок, отшлифованный до блеска пеньковой бечевкой. На бечевке безжизненно висит припущенный флажок, излоскутившийся от времени. Издали похоже, что принесло с огорода, притулившегося к боку избушки, лепесток позднего мака и прилепило к мачте. Иголки инея, впившиеся в ветхую материю, делают флажок еще более схожим с завядшим лепестком.

На огороде, пришибленная неожиданным инеем, обвисла ботва картофеля, раскучерявилась сединой морковная грядка, поникли, расклеились по земле листья брюквы, а капустные вилки торчат тугими, дерзкими шишами из грядки.

В дальнем углу огорода погреб, шалашиком поднявшийся из репейника и кустистой лебеды. Над ним свесила ветви узловатая, вся в наплывах коричневой серы и многочисленных надрубках, листвень. Ее мягкая, кисленькая

на вкус хвоя не успела осыпаться. Иней убелил листвень. Стоит она, боясь шелохнуться, как бедная, угловатая девка, на которую впервые в жизни надели праздничное маркое платье.

Что-то зашуршало в бурьяне, захлопали крылья, и белая пыль заклубилась, как бус, выбитый из мучного мешка. Старый бородатый глухарь с трудом поднялся из огородной дурнины и мягко опустился на нижний сук листвени. Он обживался на дереве, настороженно осматривался, а из-под лап его и с хвои, тронутой крыльями, струился дымчатый иней.

По ту сторону Зырянхи все ярче и шире растекалась заря. Глухарь нацелился на нее клювом, хвост его развернулся веером, перья на зобу шевельнулись, растопорщились, и он уронил в студеное, ослепительное утро:

— Тэк!

Никто не отозвался, никто не подхватил его запева. Лишь с той стороны, из рогатого утеса глядела на птицу, сощурившись, древняя пещера. Глухарь, перебирая лапами, прошелся по сучку и настойчиво повторил:

— Тэк-тэк-тэк!..

Никакого ответа. Глухарь, должно быть, и не надеялся дожждаться ответной песни. Не весна — осень пришла на землю. Он переступал по суку, с разведенными крыльями, хорохористо взъерошив перья, и пел песню каменного века, приветствуя утро, зарю и все живое на земле.

В избушке проснулся бывший бакенщик, а ныне отец бакенщика, пенсионер Изот Трофимович. Прислушался и, натянув сапоги, осторожно приоткрыл дверь. Холодок протиснулся в щель и потеснил из избушки запах угара и квашни.

— Явился! Ах ты, старый гулеван! — прошептал старик.

Глухарь неделю назад перелетел из заречного леса. Рано утром он выходил из кедрача, вспархивал на облюбованную листвень и красовался перед зорькой, славил утро, как умел. Видно, чувствовал старый токовик, что не дотянет до весны, и спешил пропеть свою последнюю песню.

Когда глухарь появился первый раз на листвени, внук Изота Трофимовича схватил ружье, но дед остепенил его:

— Какая корысть тебе от старикана? Ты послушай лучше.

Внук изумился поведению деда, заядлого охотника, но послушал осеннюю песню глухаря и почему-то опечалился. Каждое утро внук выходил вместе с Изотом Трофимовичем во двор, сидел, молчал. Что-то неведомое входило в мальчишескую душу вместе с этой старинной-престаринной, простецкой-препростецкой песней.

Изот Трофимович уже собрался будить внука, но в это время грянул выстрел. Тугим эхом ударился он о скалы и понесся вдоль реки, смятая утренний покой. Изот Трофимович ринулся в огород и там увидел двух парней. Они гонялись за раненой птицей по грядам. Чубатый, рыжий парень совсем было изловчился наступить на глухаря, но тот увернулся, юркнул между жердями и покултыхал к кедровому бору. Парни перемахнули через гордобу и на чистине быстро догнали птицу. И тут глухарь повернулся, зашипел и двинулся на парней. Он шел медленно, волоча перебитое крыло, великий в своем беспомощном птичьем гневе.

— Скажи ты! — воскликнул второй, шупленький паренек в лыжном костюме. Воскликнул и отступил на шаг. Рыжий метнулся, упал животом на птицу, смял ее.

Когда Изот Трофимович подбежал к охотникам, глухарь уже был в руках чубатого парня. Птица мелко дрожала и болезненно подергивала шей, пытаясь глотнуть воздуха.

— Докуковался, хрен бородатый! — с радостным захлебом хохотнул рыжий, указывая на птицу Изоту Трофимовичу.

— Глухарь не кукует, а токует! — преодолевая одышку, выкрикнул Изот Трофимович и уставился на парней. — Зачем погубили?

Парни переглянулись между собой. Зачем? Да просто так, услышали, подкрались и шлепнули. Теревить старую птицу, у которой мясо жесткое, как дерево, они, конечно, не будут. Но для чего же существуют ружья?

Собираясь на стройку, парни думали, что здесь, в глухом краю, бродят табуны всякого дикого зверья, и первое, что сделали, — накупили ружей и фотоаппаратов. Фотоаппаратыгодились. Есть что снимать в Сибири, а вот звери и здесь в открытую не бродят. Они где-то в горах, за увалами. Потому и палят новоселы в порожице

бутылки, консервные банки и в пичуг, какие осмелятся нос высунуть. Бьют их с озорством и веселой беспечно-стью. Изот Трофимович как-то сыскал в кедровом бору впрах разбитых дробью самых малых и безобидных птах — синичек. Вздохнул Изот Трофимович, отвернулся от охотников и увидел пещеру на той стороне реки. Белый иней оконтурил ее. Она смотрела, как казалось Изоту Трофимовичу, с ехидным прищуром. Старик резко повернулся и гаркнул:

— Ну, чего стоите? Добивайте!

— А как? — робко уставился на него худенький па-рень. — Может, выпустить, дедушка?

— На мученья? На медленную смерть?

Изот Трофимович зажал шею глухаря между пальцами, резким движением выкинул перед собой птицу, рванул. Старый токовик содрогнулся в последний раз и вытянул лапы, сложил крылья. Изот Трофимович отбросил глухаря и не оглядываясь направился в сторону нового поселка, который вырастал за кедровым бором, тесня тайгу.

В кабинете начальника строительного участка Гисзатова былолюдно и накурено. Начальник, прижав плечом телефонную трубку, ругался с кем-то и одновременно подписывал бумагу. Черные волосы начальника на висках припорошены сединой, зачес к левому глазу, нос серпом, в глазах попрыгивают огоньки. Весь он полон нетерпения. Кажется, только на минуту присел в кожаное кресло и готов в любую минуту сорваться.

Знакомство Изота Трофимовича с начальником Вырубчанского участка Гисзатовым началось бурно. Когда развернулось строительство, один бульдозерист заехал в кедровый бор и принялся ронять и распахивать по сторонам деревья. Вдруг появился старик и попер узенькой запавшей грудью на машину. Бульдозерист в объяснения пустился, а старик — с кулаками на него. Тут появился Гисзатов, спросил, в чем дело. Старик понял, что это начальник, и, выпустив бульдозериста, схватил за грудки Гисзатова.

— Стой, старик! — закричал начальник. — Говори сначала, потом драться будем!

Глаза у начальника быстрые, как у мальчишки, и улыбка в них такая, что невольно и сам заулыбаешься, встретившись с такими глазищами. Да и в плечах на-

чальник широковат. Где с таким совладаешь? Отпустил начальника Изот Трофимович. Тот портсигар вынул, папиросу длинную — «метр курим — два бросаем» — предложил. Взял старик дрожащими пальцами папиросу и за ухо вложил, как карандаш.

— Не курю... грудь... — пояснил он.

— Отбили. Кэржаки. Когда избачом был. Знаю, — сказал Гисзатов и еще больше озадачил старика: — И зовут тебя Изот Трофимович. Угадал?

— Угадал не угадал, а в деревне порасспрашивал. Там помнят, — нахмурился старый бакенщик. — Ты скажи лучше — почему кедры сводишь? Я берег кедрач, шиш-карей, саранчу эту, гонял. Хотел, чтобы парк середь города был. А ты его под корень! — расходился старик.

— Погоди, Трофимович. Хорошие мысли надо спокойно говорить. Зачем кричишь?

Кедровый бор остался жить.

Гисзатов, закончив разговор по телефону, кинул руку через стол.

— Здравствуй, Трофимович! Ругаться пришел? Вижу. Садись. Жди маленько, отпущу народ, ругаться начнем. — И, словно забыв о старике, Гисзатов начал шумливо распоряжаться. Кого-то побранил, кого-то похвалил. Между деловым разговором укорил молодого мастера, который женился и никого об этом не известил:

— Почему свадьбу зажал? Первая семья получилась у новоселов. Гулять надо! Вино пить надо! Кунаком буду!..

Негодование, скопившееся в душе Изота Трофимовича, поулеглось за эти несколько минут. И когда пришел его черед говорить, он вместо того, чтобы раскричаться, устало молвил:

— Опять озорство... — И рассказал о том, как нашел в кедраче битых птах, и про глухаря тоже.

— Птицу ранили! — воскликнул Гисзатов. — Ух, дураки! Взялся стрелять — бей насмерть!

— Скажи ты мне, пожалуйста, хороший человек, — повернул старик разговор на свой лад, — почему люди, строящие красивую жизнь, не чувствуют природу? А ведь от нее и величие и красота человека проистекает. От нее!..

— Некогда было. Строили, воевали, дрались. Учить надо! Учи!

— Не умею. Вот был в нашей деревне охотник, по имени Култыш. Великой, светлой любовью побратался с тайгой, берег ее. Да-да, берег. Он бы, наверное, научил. А я не умею.

Они еще немного поговорили, а потом начальника вызвали из области по телефону, и он, тряхнув руку Изота Трофимовича, бросил уже на ходу:

— Приходи еще. Вечером приходи. Про охотника расскажешь.

Дома Изота Трофимовича ждали девушка и двое мужчин. Они попросили доставить их на речку Азбаш.

— Изыбаш, — поправил их Изот Трофимович и поинтересовался, зачем понадобилось им быть на Изыбаше.

Люди эти оказались из научно-исследовательской экспедиции по разведению рыбы. Им предстояло ознакомиться с местностью, изучить здешние породы рыб, произвести какое-то скрещивание, вывести мальков и заселить будущее море рыбой.

— Но ведь моря-то еще нет! — поразился Изот Трофимович.

— Будет, — твердо ответила девушка, — будет море, будут города, заводы — все будет. И море не должно пустовать, и земля не должна пустовать.

Изот Трофимович охотно согласился проводить этих людей на Изыбаш, и вскоре они уже мчались на полуглиссере вверх по Зырянке. Изот Трофимович расспрашивал ученых людей, что да как, а сам смотрел, смотрел вокруг и силился, да не мог представить, что вот эти острова, эти вот прибрежные кулиги со стогами сена, круглолобые каменные быки уйдут под воду и здесь, в этой теснине, разольется море, которое, по словам приезжих, изменит: не только жизнь таежного края, но и климат. Новые породы рыб будут косяками ходить здесь, а в верховьях Зырянки, где море разольется по степям, станут цвести сады, как на юге. Чудеса!

Изот Трофимович был грамотный человек, много читал и по книгам представлял, что все это вполне возможно, однако слишком уж хорошо он знал свой край, слишком уж сросся с ним душой с детства, с тех пор, как начали видеть его глаза; и сейчас вот все это будущее представлялось ему сказкой, хорошей, доброй, красивой, но сказкой.

Два дня девушка и рабочие бродили по Изыбашу,

брали воду в пробирки, вылавливали некоторых рыб, потрошили их, спиртовали, подробно расспрашивали Изота Трофимовича. Он охотно рассказывал обо всем, что знал, но про себя думал, что люди эти с чудинкой.

В устье Изыбаша, на угорчике, стоял потрескавшийся на ветру лиственничный крест с одной перекладиной. Приезжие и про крест спросили. Изот Трофимович долго молчал, а потом глухо молвил:

— Фаефан Кондратьевич, по прозвищу Каторжанец, здесь похоронен. Наш односельчанин, охотник. — И медленно добавил: — Про этого охотника да про его приемного сына в двух словах не расскажешь. Я уж потом как-нибудь. Дома расскажу. Здесь не могу.

Они вернулись домой через неделю. Еще издали Изот Трофимович заметил пароход, причаливший возле его избушки.

С парохода выгружали какие-то механизмы. Изот Трофимович подошел ближе и увидел того самого рыжего парня, что падал брюхом на глухаря. Парень суетился со стягом на мостках и то с одной, то с другой стороны подваживал пузатую, похожую на кабана динамомашину. Мостки под ней прогибались, сухо потрескивали.

Изот Трофимович схватил доску и торцом подсунул ее под прогибающиеся мостки.

— Утопишь дорогую машину, обормот! — закричал он на рыжего. — Гробить только все мастера.

Парень хмыкнул, налег вместе с ребятами и девушками на грузную машину, и она по скользким доскам сползла на берег. Вскоре пароход был разгружен. Сели курить, и рыжий подмигнул Изоту Трофимовичу. Лицо у него было озороватое, сплошь усыпанное веснушками.

— Не подмигивай — окривеешь, — буркнул Изот Трофимович.

Парень расхохотался и сказал своим друзьям:

— Во, ребята, старикан едучий, спасу нет! Глухаря я у него на огороде шлепнул, так он меня чуть сырым не съел и на начальника нашего, говорят, с кулаками лез, и на Ваську-бульдозериста. А кулаки-то, ох, умора! — И рыжий захохотал, повалившись на спину.

— Пустобрех! — проворчал Изот Трофимович и тут же вспылил: — Да вас, сукиных сынов, не кулаками надо, а оглоблей по башкам, чтоб не пиратничали. Глухаря он шлепнул! Кабы только глухаря. Все под корень сводите.

Ты вот больно веселый, так я тебе сейчас поубавлю веселости-то.

Он попросил подождать его и засеменял в свою избушку.

Оттуда он возвратился в сопровождении девушки — рыбного специалиста.

— А ну, прочтите этим молодцам тот отрывок из книжки, что вы на Изыбаше читали.

Девушка пожала плечами, попросила одного из рабочих принести книжку, полистала и начала:

— «Тогда...»

— Это о нашем времени, молодые граждане, идет речь, — перебил девушку Изот Трофимович и кивнул головой: — Продолжай, дочка.

«Тогда, — читала девушка дальше, — вырубали леса, сожгли накапливавшиеся сотнями миллионов лет запасы угля и нефти, загрязнили воздух углекислотой и смрадными выбросами, перебили красивых птиц и безвредных зверей — жираф, зебр, слонов, пока мир успел дойти до коммунистического устройства общества. Земля была засорена, реки и берега морей загрязнены стоками нефти и химических отходов. Только после серьезной очистки воды, воздуха и земли человечество пришло к современному виду своей планеты, по которой можно всюду пройти босыми ногами и нигде не повредить ног...»

— Обидно слушать такое? — уставился на рыжего парня Изот Трофимович. А потом обвел взглядом девушек и парней. Все загудели и зашевелились:

— Хорошо им рассуждать...

— Мы для них, для будущего, не доедаем, не досыпаем...

— Это про капиталистов, не про нас тут сказано, — ввернул рыжий.

— Лес рубят — щепки летят!..

— Коммунизм в белых перчатках не построишь!..

— Перчатки не надо! Грязные руки — тоже! — подал голос Гисзатов, незаметно появившийся на берегу. Он присел на камень среди комсомольцев и, хитро сощурившись, подзадорил Изота Трофимовича: — Валяй дальше, старик, критикуй!

— Нет, критиковать не умею, — отозвался Изот Трофимович, — а вот рассказать этим ребятам одну, правда, не очень веселую историю, пожалуй, стоит. — Изот Тро-

фимович обернулся и указал на кедровый бор. — Вы видите эти кедры? Так вот все они пошли от одного кедра, посаженного на могиле охотника. Во-он самое высокое дерево, а вокруг него молодняк, вроде вас. Вот там была могила. Она давно сровнялась, заросла, а вечный памятник остался.

Рассказ первый

Приемный сын

По реке Зырянхе, на берегу которой беспорядочно рассыпались крытые толстым колотым тесом и еловым корьем избы кержацкой деревни Вырубы, в давние годы гоняли плоты верховские жители. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками-скотоводами в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они и подряжались на всякие работы за кусок хлеба. Чаще всего уходили они на сплав и гоняли плоты по бешеной Зырянхе, изредка проплывая упрятавшиеся в горах скиты и угрюмые села раскольников, много лет назад укрывшихся в сибирской глуши от поганых поборников новой веры.

Один из плотов разбило о гранитный мыс, бугристой грудью выдавшийся в Зырянху. На берег вместе с переломанными бревнами выбросило мальчика лет восьми. Кисть левой руки его была раздроблена. Языка он с испуга лишился. Сколько ни тормошили докучливые бабы мальчика, сколько ни спрашивали знаками, кто, мол, он, откуда, — ничего добиться не могли. Мальчик смотрел на всех немигающими глазами, подавшимися из орбит, и тряс головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха. И матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром порешили: дурачка убрать.

Кержацкие устои да суеверие не знают жалости. И суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря: есть в этом дурное знамение и не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же

получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечешка уцелел. Убраты! У малого башка трясется и глаз дурной. Светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет.

Берег быстро опустел. Погоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабы-староверки разбежались по домам, закрепощивая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Это грех. Они посадят его на салик — и оттолкнут. Плыви с богом! А куда? До каких мест доплышь — это уж не наше дело. Бог тебя послал, пусть бог и к месту определяет. Захочет — до другой деревни убежит, не захочет — на первом пороге утопит. На то его, божья, воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудующих топорами, и пытался что-то понять. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду.

Мужики нахмурились. Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:

— Перевязать бы ему руку-то?

Никто ему не ответил, и Троха потрусил домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпицы не оказалось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Выруб — староверов, отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают... что делают, звери...

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносились его виноватые слова:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя и не маялся бы. А ты все-таки человек, и делать этого никак невозможно, потому, стало быть, мучисси.

Мальчик глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Должно быть, ему было очень больно, а может, и растрогался мальчишка. Троха осторожно опустил мальчика на камень.

— Ох-хо-хо, отошел бы вот здесь-ка, схоронили бы

мы тебя на мирском кладбище, душа твоя невинная, светлая... А то плыть за смертью тебе еще раз...

Мальчик притих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял на односельчан глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы...

— Не скули! — буркнул кряжистый мужик с раздвоенной губой. — Мир постановил!

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался; мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей, песком. Из грязного комочка, на месте пальцев, торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню от «ужасти». А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчик брыкался, выскальзывал, словно рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Вдруг он разом ослабел, завял, но и беспамятство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчонки все еще содрогалось. Мужикам казалось, что часует уже малая душа, а все же борется за жизнь.

— Воды боится, — сказал кто-то сдавленным от страха голосом и совсем тихо, заговорщически добавил: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он смелый.

— Стяжок бы, стяжок, — заторопился кто-то. — Эх, на суше салик сколотили...

— Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа с телом не расталась, — падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздروгнули бесстрашные на вид и робкие в душе староверы, будто голос с неба раздался, проворно расступились по сторонам. В суете они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел

большой чернобородый охотник Фаефан (по святам — Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает остроуглые камни, сделали его более гладким для произношения). Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так, что камешник уходил в песок.

Вся деревня знала, что Фаефан водится с лешим, и потому боялась его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку на груди, приложил ухо. Зачерпнув пригоршнями воды, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, таймененок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить и рук не замарать...

Фаефан протянул длинные волосатые руки к мальчишке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся, таймененок! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека...

Наговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, нерешительной стеной сгрудились мужики. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули, и он гаркнул:

— Сгинь, кержацкое отродье! Пока лихо не сделалось...

Берег опустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засеменяли по домам. Фаефан громогласно объявил, ступив со своей ношей в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — решу!

В ответ ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними — короткая суета рук. Крестятся.

Так нес Фаефан, по прозвищу Каторжанец, нового жильца по деревне, называя его таймененком. Это было самое ласкательное слово изо всех, какие он знал.

Но совсем другое имя пристало к мальчику. На деревне его прозвали Култышом. Прозвали из-за того, что на левой руке мальчонки торчали рогулькой два паль-

ца — безымянный и большой, остальные выболели и отсохли. Язык к Култышу вернулся не сразу. Он всю жизнь заикался в минуты волнения.

Был у Фаефана сын Никон, годов на пять моложе Култыша. Два мальчика росли вместе, только прилип Фаефан душой не к Никону, а к Култышу. Что за причина тому была — неизвестно. Может быть, знал Фаефан, что недолюбливали Култыша в его семье и в деревне. Может быть, старался за всех людей, что окружали сироту, обласкать и согреть его. И Култыш тянулся к этому человеку, побывавшему на каторге за убийство унтер-офицера во время солдатчины. Говорили, что унтер мордовал солдат, а Фаефан никогда и никому не позволял себя бить.

Рано начал Фаефан брать Култыша в лес, рано посвятил в охотничьи премудрости, которые мальчишка впитывал в себя незаметно и прочно, как впитывает земные соки молодое деревце.

Дивился Фаефан странностям приемного сына. Мог мальчишка часами сидеть неподвижно на утесе и глядеть куда-то вдаль, то печалась и бледнея, то молча улыбаясь каким-то своим мыслям и видениям. В вешнее цветение заваливал он избушку всяческой растительностью. Охапки цветов лежали на окне, на столе, на нарах, возле избушки. Фаефан не гасил в сыне эту страсть.

— Вот умник, вот молодец, — хвалил он Култыша и незаметно выбрасывал цветы, а тот приносил свежие, отыскивал самые причудливые, запашистые и был счастлив, когда отец радовался с ним вместе. Сам Фаефан любил больше других цветов стародуб, редкий, таинственный и по-строному красивый цветок Сибири. Само собой, Култышу тоже поглянулся больше всех цветов — стародуб: ведь он пришелся по душе отцу — Фаефану Кондратьевичу, значит, стоил любви.

Гостями бывали Култыш и Фаефан Кондратьевич в деревне и в своей семье. Никон очутился под надзором матери, сухой, набожной и болезненной женщины. Отца он дичился. Был Никон костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми и чуть сонливыми. В глубине этих глаз таились хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Никона на охоту с собой, когда тому исполнилось шестнадцать лет. Охотились за маралами, на солонцах.

Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая требовала бы от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости в стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Никон и вроде бы из разговоров знал, что и как. Он даже помогал однажды отцу и Култышу таскать соль к речке Изыбаш.

Отец вбивал колья в землю, расшатывал их, в узкие лунки выливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли на этот самый Изыбаш. Никон не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг частой ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник вперемежку с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах просачивался медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственно приторного марьиного корня.

Никон надеялся, что отец с Култышом закурят и предложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Никон опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, маленькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или лиственничной серой, которую так любят жевать сибиряки. Впереди, на неокоренных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берестой и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнул ствол ружья», — догадался Никон.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Никон подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и

просунул ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб, дескать, думать надо, соображать. Никон вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Никон вспыхнул и отвернулся.

Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально взглядевшись, Никон разобрался, что эта пленочка здесь неспроста — она указывает направление ветра. Сейчас хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз—легонький, струистый ветерок, не способный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро! — отметил Никон. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Принялись донимать мокрецы. И только сейчас Никон уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Никон посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда прежде всего и забрались комары.

Никон шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованный полоской света, проникающей через окошечко, виден был сухой профиль Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубочки, которую, сколь помнит Никон, Култыш как засунул в рот еще в детстве, так с тех пор и не вынимал. Мать била Култыша по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой староверки появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколил его отец!» — ухмыльнулся Никон и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком, похожая на кружок льда, вытряхнутый со дна ведерка, выпутывалась из ячеистых облаков над кромкой леса, то появляясь на мгновение, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, тоже напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Никон уже чувствовал, как шевелились его штаны от мокреца, набившегося в дыру. Эти мелкие, но больно жалищие комарики

облепили и неподвижные руки Никона. С охмелелым писком они отрывались и косо вылетали в отверстие, мелькая черными искорками. Каким-то образом они проныкли и под накомарник, кусали нос, глаза, губы.

Никон вспотел. «Скорей бы луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил — отец подает ему какие-то знаки. Никон долго не мог разобрать в темноте, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Никон обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрепину в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Никон запоздало сунул руку в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как лещ из липкой мережи. Все разом обозначилось перед глазами и, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немого, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздиha, не покинувшая гнезда своего даже в присутствии людей. Никон почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Никон увидел между деревьями марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно дакнул плечо Никона: «Не смей стрелять, рано!»

Марал рванул в сторону, затрещал кустами.

«Ушел!» — ахнул про себя Никон и боязливо сообщал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Никон послушно перестал дышать, удивляясь тому, что отец делает движения совершенно бесшумно, будто сова. Никон до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил.

Марал живет и обороняется только своей осторожностью и чуткостью. Природа наделила его великолепным

слухом и чутьем, быстрыми ногами и даже четырьмя ноздрями, или, по-охотничьи, норками. Они у него не только в носу, но и ниже глаз.

Рогач хоронился долго, слившись с деревом, с тишиной, с ночью. И вот осторожно, прячась за стволами деревьев, за вывороченными корнями, он снова двинулся к яме, возле которой, наверное, провел не одну ночь, и все же не утратил выдержки даже при запахе такой лакомой штуки, как соленая земля.

Несколько раз выходил бык на кулигу и снова с шумом бросался в лес и замирал там. Никона колотило, и он уже не подсчитывал, сколько можно отхватить деньжат за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в Китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости китайцы готовят такое зелье, попивши которого, даже немощный старик может снова спать с бабой. Никону очень хотелось попробовать этакое диковинного питья. Вкусное, поди. Но сейчас ему было не до того. В глазах туманилось, суставы закаменели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли Никона направо и налево. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжело давит на виски. Когда марал — в который-то раз! — высунулся в лунную полосу на кулигу, а затем метнулся в сторону, Никон дико закричал, выпуская из себя воздух и бешенство:

— А-а, гад! — и грохнул из ружья.

Отец бил его прямо в караулке, катая, будто трухлявый пенек. Никон не оборонялся, только закрывал лицо руками. Фаефан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и, когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фаефан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Никон, спускаясь к речке, хлюпал разбитым носом, утирал рукавом слезы и вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собрался пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Странное дело — ему стало легче. Он даже радовался, что наступил конец этой пытке, и в конце концов решил, что лучше быть битым, чем сидеть закованным и чувствовать, как тебя живо съедают мокрецы.

«Но Культа-то, Культа! — возмущался Никон, — хоть бы шевельнулся, охнул. А ежели бы Каторжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отшились от мира-то, озверели!»

Никон остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес, темный в речке, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знобким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И тишина такая, что оторопь берет. Иногда только прошуршит в траве бессонный мелкий зверек, промышляющий по ночам. Да чуть слышно грызет дряхлое дерево короед-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Никону: марал-пантач, недвижимый Култыш, ругань отца со скрежетом зубов, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то напоминал Никону жижицу из пантов, хотя он никогда ее не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и в то же время до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека.

Никон зевнул, пощупал под деревом — не сыро ли? Прилег. Полежал, думал — прочитать молитву, как учила мать, или нет. Лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто он такой, этот бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его? Небось, не пригнал быка на солонцы, только раздражил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулак у Каторжанца, ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь», — погрозился Никон. Он, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул и по привычке занес руку перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шархнул в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных.

Ни страха, ни робости Никон не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет жалобиться матери на те ужасы, какие довелось пережить ему в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Никон на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и

спокойно уснул, поближе придвинув ружье — на него он надеялся больше, чем на крестное знамение.

От холода парень скоро проснулся, поводит глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы, пробовали свои голоса; из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Никон внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко приходится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Никон похлопал себя по карманам — нет ли там куска хлеба. Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши и, смачно похрустывая ею, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике мелькнуло темное пятно и исчезло в дырчатой валежине, лежавшей поперек речки. Никон застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Никон опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленная мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболю!

— Будет выручка! — довольнехонько погладил Никон зверька и, насвистывая, пошел к избушке.

Там уже дымил таганок. Отец с Култышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Во! Добыл!.. — с вызовом сказал Никон и бросил соболя к ногам отца.

Феафан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, а, как показалось Никону, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына:

— Соболюшку загубил! Она только осенью выкунет, а сейчас у ней соболята. Осиротил, на мор обрек... Уходи. Сегодня же уплывай домой! Ты — враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— Тайга только для тебя с Культей сотворена, что ли?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выстрел, взрыв землю у ног Никона. С Фаефаном Кондратьевичем случился припадок. Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но охотника так подбрасывала неведомая грозная сила, так она его корежила, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Никон топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему одно было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Никон, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну, чего разостраиваться из-за зверушки, — невнятно бормотал он. — Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги. И около крестьянства дело найдется...

И в тот же день отбыл Никон в Вырубы.

Вовсе раскололась семья на две половины: дома мать с сыном, в тайге — отец с Култышом. К большим праздникам приплывали охотники, мылись в бане, пили, отсыпались. Фаефан Кондратьевич по пьяному делу разгонял из дома всех странниц и кликуш, коих любила привечать его жена, обзывал их срамными словами. Те, истово крестясь, говорили ему: «Бог простит» — и пережидали, когда «каторжанец» уберется «к себе».

Фаефан Кондратьевич с Култышом долго в деревне не задерживались. Тоска грызла их здесь. Через три-четыре дня, редко через неделю, они уплывали «к себе», в тайгу.

Здесь, в тайге, и умер много повидавший на веку своем охотник Фаефан Кондратьевич. По своему непонятному нраву завещал он схоронить его в устье речки Изыбаш, а не на кержацком кладбище.

Култыш выбрал место на взлобке угора, где сам часами сиживал в детстве. Видно с угора далеко-далеко. Весной первыми во всей округе здесь распускаются стародубы; разлив не достигает этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего, Фаефана Кондратьевича, один. Мать и Никон не пожелали тащиться в тайгу.

Они, как выразилась «сама», и так вдосталь оскормились, живя с «вероотступниками»...

* * *

Изот Трофимович говорил о том, что дошло до него по рассказам отца — сапожника Трохи. Много жуткого пережил Троха, много перетерпела семья его от кержаков. Даже после революции, когда Троха возглавил деревенскую бедноту, по соседству со школой и избой-читальней кликушествовали и диковали сектанты, справляли свои праздники, блюли веру и совершали изнурительные обряды. Троха погиб, напоровшись на искусно замаскированный самострел.

Его место занял сын.

Изот верил, что его край станет другим, не будет его деревня отрезанным от мира ломтем. Толковали прежде, что не могут ходить вверх по Зырянке пароходы. А он сказал, что пройдут, и почти тридцать лет указывал им путь. И не только указывал, но и учился, много читал. Когда был избачом, землячки «темную» ему сделали, отбили «нутро».

За год до Отечественной войны пришла в Вырубы экспедиция. Люди измеряли дно реки, делали снимки, прицеливались на скалы. Око в око усталились теодолит и пещера. Прибор — с веселым вызовом, беззрачная пещера — с надменностью.

Экспедиция ушла дальше. Изот Трофимович вызвался вести измерения температуры воды и определять скорость ее течения, собирал образцы речного грунта. Даже в войну он ежедневно спускался на реку, долбил в толстом льду лунки, коченеющими руками совал в воду термометр, черпал ковшиком гальку и вел записи.

— Чего ты кудесишь? — ругала его жена. — Кому нужны твои записи?

— Сгодятся, — не сдавался Изот Трофимович, — непременно сгодятся. Вот увидишь, край наш огнями запыляет...

— Блажишь! — качала головой его супруга. — Стар становись. Осенесь керосину для бакенов по норме выдавали, а ты — элстричество! — И с тяжким вздохом прибавляла: — Слух есть, ерманцы уже под Москвой...

— Ну и что?! Ну и что из того?! — кипятился Изот Трофимович и с упорством малого парнишки твердил: —

А я буду записывать! И сгодятся мои записки! И будет здесь гидростанция, и будет электричество, и никакой германец не погасит его...

Он долго ждал, твердо верил. И дождался.

Пришли строители.

Была даже музыка. Оркестр играл «Легко на сердце» и еще что-то веселое. Люди говорили речи, пели, кричали «Ура!», а Изот Трофимович сидел на бухте мазутного каната и плакал.

Никто не смеялся над ним.

Загудела тайга. Колыхнулись, стали рушиться скалы. Но все еще с вызовом смотрела на избушку бакенщика пустоглазая пещера. Изот Трофимович знал — велика эта пещера! Сквозь хребет просверлилась она, и где-то возле города ее хвост, загроможденный обвалом. Он и о пещере поведаль в своих записях. Возник смелый проект: пропустить железную дорогу по этому своеобразному тоннелю. И видел Изот Трофимович, явственно видел, как с победным криком вырывается из скал машина и летит через ворчливую Зырянку сюда, к кедровому бору, сбоку которого горбится крышами черная от времени деревушка...

К берегу подходили и подходили строители. Гисзатов знаками приглашал садиться и сделал страшные глаза, когда зашумела девушка в яркой безрукавке.

— Что за культурное мероприятие? — поинтересовалась она у ребят, сразу перейдя на шепот.

— Кержак про кержаков рассказывает и про охотника одного. Ох и жизнь у них тут была — ужас!

— Это любопытно! — сказал только что подошедший парень в форсистой ковбойке. — Они, оказывается, не только дерутся, но и беседуют даже...

Изот Трофимович услышал, закусил губу. Парень в ковбойке сказал это громко, с вызовом. Его дернули за рукав. Но старик уже знал, что случилось здесь в то время, пока он ездил с учеными людьми на Изыбаш.

Жители Выруб приходили в комсомольский палаточный городок отбивать «заработку». Они издавна привыкли сшибать дикую деньгу на случайных фортах. Фартом в давние годы считались застрявшие на камнях плоты. Бывало, ревут ревя люди среди реки, а расчетливые кержаки сидят на берегу и запрашивают с них цену, да такую, что плотогонам впору портки снимать. Фарт сва-

ливался на Вырубы редко, и надо было им с толком воспользоваться.

И даже теперь, окруженные со всех сторон шумом и рокотом новостройки, вырубчане, многое утратившие из своего характера, но все еще цепляющиеся за «свою веру», шибко захиревшую, расштатавшуюся, не утратили веры в фарт и умудрялись выгодно подряжаться на случайную работу, сулящую бешеную деньгу.

Не было еще у строителей ни дорог, ни транспорта своего. Одна дорога — Зырянха. Придут баржи с грузами, задерживать нельзя — осердятся в пароходстве, и ладно, если оштрафуют, но могут в другой раз и отказать. Вот и бегаёт начальник не построенной еще пристани по деревне, умоляет:

— Товарищи! Помогите! Выручите! Великая стройка!.. Скоро вам электричество проведем!..

А в ответ — из поколения в поколение передающийся вопрос:

— Сколько дашь?

— Как сколько? По расценкам.

— Хэ-хэ! Расценка! У нас своя расценка: тыща рублей, два ведра вина — и тес к утре будет на берегу.

— Но я ведь не приказчик...

— А коли не приказчик, иди с богом, не заводи зряшний разговор.

Куда идти? Кого просить? В палаточный городок, к комсомольцам.

Только что развесили мокрую одежду комсомольцы вокруг чугунной печки. И вдруг свист, а затем крик на весь палаточный городок:

— За мной! По одной плахе выбросим — и тес на берегу.

Кто кричал? Кто повел? Попробуй разбери. На работе согрелись. Кого-то ушибли — ничего, заживет до свадьбы.

Поздно ночью загудел пароход, уводя порожнюю баржу, разбудил глухую деревню от тягучего сна.

— Выгрузили? Кто? Н-ну, погодите!..

Утром выбежали ребята из палаток умыться и видят: идут к городку с топорами и дрынами люди. Взгляды угрюмые, тяжелые. Перед такими дрогни, спасуй — не сдобровать! А милиции тут нет, надеяться не на кого. И опять тот же, а может, и другой голос на весь городок:

— За мной!

До самого берега Зырянки гнали вооруженную орду комсомольцы. Сыпались кержаки с крутого яра к воде и берегом драпали по домам...

Р а с с к а з в т о р о й

Крик в ночи

Иные люди умирают, не оставив на земле никакого следа. Хорошо, если они нарожают детей и хотя бы этим продолжат свой малый ручей, который сольется с другими, растворится в них, но будет уже тем велик, что станет частицей живой жизни.

Но есть и такие люди, которые при жизни кажутся бросовыми, никому не нужными, как бы созданными только для того, чтобы скорее исчезнуть из памяти людской. Култыша, например, жители Выруб уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнышко — и нет его — пропал.

Только не взяли жители этой деревни в расчет того, что после такого снежка озимь на поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливей, полет птицы стремительней и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, загасло и умерло.

Но тот далекий голодный год не был похож на недолгий ранний снежок. Первым вестником голода явился старый, сморщенный киргиз с белыми пятнами на черной голове, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. Люди в страхе задвигали толстыми жердями, по-сибирски — бастригами, калитки ворот.

Старый киргиз с мальчишкой протащился из конца в конец деревни Вырубы, постоял на росстани, долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеколдой и царапался в доски, как приبلудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачиком, он держал мертвого мальчика и раскачивался всем корпусом, что-то напевая, тягучее и заунывное. Глаза прищельца были закрыты.

Никто не решился его потревожить.

Какая-то сострадательная хозяйка бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и что его надо схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль:

— А-а-а-ай... А-а-а-ай!

И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Выруб.

Шли дни.

Тощий, сморщенный киргиз как неприкаянный бродил по деревне и ночами кричал за околицей. Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова пробирался к могиле киргизенка...

Между тем голод уже гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. В лесах от сухости начались пожары.

Напуганные и теснимые огнем, зверье, птицы покидали эти края. Иногда по Зырянне плыли прокисшие в воде трупы лосей, коз, маралов. Даже светловодная рыба — хариус, таймень, ленок — скатилась в низовья или зашла в малые горные речки. Голод давил людей, как тараканов, оставляя на земле черные пятна могил.

Конечно, при старании и умении еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но вывелись добытки в Вырубях, выродились в них сметка, мужество и выносливость. Остались вера, удушливая, как сажа, да черная злоба и трусость. Боялись всего: тайги, пожаров и особенно бога, которого чем-то прогневили и теперь умаливали скопом и в одиночку, вместо того, чтобы сообща бороться с бедой.

Ночами и особенно в глухие вечера в деревне становилось душно. Семьями валялись перед закопченными ликами икон, ползали, просили милости. Сажа слоем лежала на крышах, липла на окна, застилала солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кержаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла куда-то двухлетняя девочка, обвинили азиата в «сглазе» и увели его за околицу, где покоился киргизенок.

Деревня вовсе примолкла, затаилась. Каждая семья жила теперь сама по себе, каждая боролась с напастью в своей избе. Сначала ходили на кладбище провожать соседей, взывали по привычке, а потом хоронили уж всяк своих, без обрядов, а порой и без домовин.

В один из душных вечеров, когда над деревней колыхалось марево и солнце, словно бы закутанное в мелкую красную шерсть, садилось за горы, в Вырубях появился Култыш. Лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых, свалывшихся волос.

Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, поднял свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную суму взял в руку и побрел в деревню. Рыжели переулки опаленной травой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась особенно стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них — сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Култыша девочка с одним ведерком по воду, глянула на него болезненно-вялыми гла-

зами и ничего не сказала — ни здравствуй, ни прощай. Сердце у Култыша замерло от нехорошего предчувствия. Он постоял у крайнего от берега дома и несмело взялся за кольцо. Оно будто минуту назад вынута из горна.

Позвякал.

Никакого ответа. Тогда он забренчал встревоженно и торопливо. Из дома крикнули хрипло, с бранью:

— Пошел! Пошел, поганый! Зарублю!

Култыш очумело уставился на ворота и больше стучать не решился, а направился к другому дому. Но и там никто не открыл ворота. Его ругали остервенело, не показываясь, называли, как чужака, поганым.

Култыш устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельно-серой. Тихие, неприветные избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребяташки гоняют к реке купать и поить коней, а бабы поливают огороды.

Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник и не слышится вслед за этим утомленный бабий голос: «Да стой ты, одер». Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала ли в чьем дворе скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не надо было, кроме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен, удобен сделался Култыш, что щепетильные старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганых», привечали его в любом доме наперебой, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

«А сейчас вот на-ка, вызнали, надо думать, что без добычи явился я, и не пускают». — Поморщился, повздыхал Култыш, взял кожаную пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады деревни, к дому своего покойного отца — Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало.

Но нынче в огороде этом, особенно за баней, зеленела островком густая трава, ершилась крапива вперемежку с конопляником. Култыш перелез через городьбу, подошел к бане и сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водою порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Никон. Был он хозяином справным и за это почитался в деревне. Глава «опчества», старшина, наметил его на свое место — наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если случалось Култышу по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Никон не прогонял его, но и приветных слов не говорил.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровенького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Никона. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых отстоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдя, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Чего-то долго не появлялся. Мы уж думали: помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, два месяца на Изыбаше валялся. Вот оклемался. Дай, думаю, на люди покажусь, ан не пущают нигде... — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, а пос-

ле того нищие валом валят. Вот все и заперлись.—Клавдия помолчала и прибавила: — Вымрет деревня — голод.
— Я знал, что засуха, но такого бедствия в деревне не гадал, не чаял...

Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведро.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хвораго навалилась, страсть.

Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде где-то еще есть, схожу.

— Да ладно, ладно, обойдусь. Загундосит сам-от.

— Погундосит и перестанет, — спокойно обронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначались острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Никон под крылом у лютой староверки, но часть Фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким «поперешным», что даже матушка не могла ему укорот сотворить. Так взял Никон и женился, наперекор матери, которая уже подсмотрела ему невесту, на девушке из семьи сапожника Трохи, семьи бедной и многочисленной, нуждой загнанной в Сибирь все из той же «Рассеи». На, мол, тебе, старая, проглоти. Но вполне возможно, что и еще кому-то хотел досадить Никон.

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к Трохе, слушать его сыпучую небывальщину, сдобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово — не село. Я вам хоть что делать стану, сумы таскать, похлебку варить, обутки опять же догляжу, почию, когда надо...

— Куда тебе, у тебя рукомесло и семья.

Однажды Троха в шутку, а может, и всерьез бухнул Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Моя дочь. Начнет Култыш женихаться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка камень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошли по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш с отцом, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется — откуда сила, чертомелит так, что Фаефану Кондратьевичу за ним не угнаться. Пятьдесят верст для него — не околица. Чуть чего — норовит в деревню сбегать: хоть на дом Трохи поглядеть, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один почему-то стал стесняться.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал: затоскует без него отец.

Зима прошла.

Длинная она была без отца.

Мягко шурша, повалилась с деревьев кухта, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. Лед на Зырянке отъело от берегов, наступили весенние распары, и покатались, понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича, и сразу взялась на ней, засветилась зеленая травка.

Не спит ночей Култыш. Болит у него сердце. Чует еще беду. Выбежит парень ночью из избушки, проваливаясь в рыхлом снегу, ринется без одежды в лес, бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, и бормочет.

Как-то пробродил до самого утра и, глядя тоскливыми глазами вдаль, заорал на весь лес:

— Клавдя! Погоди еще недельку! Погоди до стародубов!

С виду уже мужик Култыш, а остался все тем же непонятным, чудным парнем. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с любимыми цветами — стародубами. Эти цветы выклеиваются из земли вслед за подснежниками и медуницами. Редкие это цветы и красивые — ярко-желтые, с горящими углями в середине и с такими мохнатыми да духовитыми стеблями, ровно все

лесные запахи впитались в них. И чем больше сохнут стародубы, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы расцветали раньше всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на пышнозеленые всходы. Зажали они в тугой щепоти цветов и не выпускали. Подгонял их Култыш словами: «Ну, быстрее, быстрее!» Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и подолгу дышал на каждый стебелек.

А весна все размашистей шагала по тайге. Гнала друз за другом удалые недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам.

Набух, вспучился, посерел лед на Зырянике.

И в тот день, когда на угоре вспыхнул и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и двинулась река.

Схватил маленькое земное солнышко Култыш и понес его своей невесте под рубахой, у сердца, а за плечами мешок, полный соболиных, горностаевых и колонковых шкурок. Всю завалит с ног до головы свою невесту мехами и в волосы ей вплетет солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — это щедрая тайга женит своего сына!

Никон не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно беспокойный день, когда Зыряника, точно озверев, со скрежетом и гулом раскальвала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубках началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, но еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в ключья порвал свадебную нудь, сдул ладанный дух, смешанный с самогоном:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стола. Все высыпали на берег.

Насупился Никон.

Побледнела Клавдия, прижала кулаки к груди, будто боялась — выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. Там, на широкой белой льдине, среди реки, девушка увидела темную,

одинокую фигурку. Побежала Клавдия к реке, забыла подобрать подол длинного платья, наступила на него. Хрясь! — со скрежетом разорвалась холстина само-тканая.

Сзади злорадный шепот Никона:

— Куда торопишься? Зря! Поздно!

Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А та одинокая фигурка на реке все шла и шла неустрашимо вперед — грудью на Зырянху, на людей, на эту богом забытую деревушку.

Человека относило. Перебирая ногами, как горячий, нетерпеливый конь, он ждал следующую льдину. А она шла кружась, точно огромное блюдо. Догнала ее другая льдина, сунулась, как утюг, раздавила, вперлась между пластушинами — и к человеку. Еще не коснулась, не дошла она до него, а он уж взвился на жерди, мелькнул в воздухе — и сразу же на новую ледяную глыбу, прошитую капелью.

Еще прыжок, еще!

Сорвался, упал.

— Ах, оглашенный! Утоп!

Но человек появился снова, как из преисподней, и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река ревела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались и исчезали кипящие полыньи, звонко осыпались вниз прозрачные веретенца, и все время метались по реке черные молнии, распластывали лед, рвали его в клочья. Вот сошлись две льдины, уткнулись тупыми лбами, вздыбились, как норовистые лошади. Выше, выше, выше встают они, яростные в последней смертной схватке.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с этакой силищей — мураш. Но грохнулись две льдины, разбились в звонкие дребезги, дали простор глазу — и все увидели его.

Он боролся.

Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискосок — в понизовье.

Понял, видно — не взять грудью Зырянху.

Рванулся онемевший было люд по берегу, снова закричал, замахал руками:

- Назад вертайся!
- Сгинешь!
- Хоть мешок-то кинь!
- Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек, благодарственно руку вскинул и снова рванулся вперед, непобедимый, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Побежали люди, подняли — Культя!

Но такого Культю никто и никогда еще не видел. Глаза горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, устало смеется и счастливо.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, поэтому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоившись.

Вдруг поднял голову Култыш, глаза его округлились, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье остановилась подле него, не зная, что сказать. Рядом пристроился Никон и уронил, как булыжник в воду:

— Что, проздравить нас торопился? Дуй!

Култыш вынул из-под шабура мятый, но все еще светящийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смехок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Только покойникам, да и то из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на эту ждущую потехи толпу и сжал кулаки:

— Ы-ы-ых, слякоты!

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, безжизненно опустив руки, но у самой воды вскрикнул дико, как раненый зверь, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходит человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь Троха-сапожник порывался бежать вслед за Култышом. Но его удержала обеими руками жена, а

потом мужики схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал, как баба, навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была моложе Никона, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то откровенным вызовом. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала, хозяйство вела справно.

Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Старуха привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере. Любила Клавдия, как и ее разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее отучили от этого зряшного занятия в доме Никона. Ее заставляли молиться, покоряться, и она исполняла до поры до времени все потому, что так повелось от веку. В ее бедной, безалаберной семье не было никогда такого тупого гнета.

Иной раз Клавдия крадучись пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос, точно соску, и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому Изотке, который лез под руку или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окно летели сапоги, ичиги, опорки:

— Нател!.. Сами починайте! Заели жизнь мою и дочернюю, двуперстники, мать вашу...

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Однажды они взялись было учить его кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству», но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и, не разбежись они, пожалуй, кое-кто не сдобровал бы.

Что-то переломилось в этой женщине.

Дикой прозвали с тех пор Клавдию кержаки, утверждали, будто «чокнулась» она, и не раз интересовались, как это Никон до сих пор цел и невредим. Он ухмылялся, показывал костлявый кулак:

— Вот он, бабий унтер!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дикой» и никогда не смел ее пальцем тронуть.

Култыш пользовался особым расположением Клавдии. Будто в отместку кому, она привечала охотника, точно самого близкого родного, чем вызывала неприязнь Никона и даже ревность, которую он маскировал ехидными насмешками.

А Култыша, как и прежде, тянуло в тот дом, где жила теперь Клавдия, и он сам себе объяснял это тем, что вела его туда неистребимая любовь к отцу. Но была, конечно же, была причина, которая заставляла его обходить этот дом стороной и по возможности реже появляться здесь. Раз хозяин дома ляпнул прямо в глаза Култышу, что он сохнет по его бабе всю жизнь и только во сне видит, как ее обнимает. Охотник совсем стушевался, вовсе перестал заходить в дом Никона.

И вот он снова здесь, и снова говорит с Клавдией. Никон будет подначивать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, и не будет? Года ведь прошли. Никон сохранился лучше Култыша, но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Никон. За ним Клавдия. Сделался Никон еще суше и ровно бы в рост подался. Седина обметала голову Никона, как хрупкий ледяной припай — темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови нависли козырьком, над переносьем. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко давнул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу-то не идешь? — спросил Никон, протягивая Култышу кисет.

«Поперешный» Никон курил и вообще делал много несоответствующего правилам староверов.

— Да так вот, дошел до баньки и сажу вот... — забормотал Култыш.

Никон искоса глянул на него, облизал бумажку и пробурчал:

— Ладно уж городить-то. Ступай в избу, чай не чужая.

Култыш засуетился, отыскивая котомку.

— Я принесу, принесу,— обрадованно замахала руками Клавдия.

— У меня там гостинец ребятишкам — черемши солевой туюсок.

— Им бы мяса, — сумрачно вздохнул Никон,—вовсе отощали.

— Нету мяса. Хворал я, — начал оправдываться Култыш.

— Ушел зверь из лесу? — спросил Никон, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный зверь перекочевал. Правда, коегде коровы с телятами остались. На солонцы одна ходит...

Брови Никона шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей, он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей, небось, больше, чем овчины.

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, изде-лаешь...

После бани, непривычно чистый, причесанный, Култыш сидел за столом. Возле него ребятишки — племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветливые. У матери его тогда были тоже такие. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай! В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем...

Возле печи Клавдия. Прислонилась спиной к шестку, пригорюнилась, вспомнив что-то.

Никон крикнул и выпроводил сынов из-за стола, а затем жестом приказал им выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В новой сатиновой рубаше, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Никона, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе. Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Никон радушно подливал ему.

— Дак чего же ты корову-то не завалил? — между делом поллюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее—подрстет пусть, на жительство определится, — обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая...

Култыш часто замигал веками, и Никон только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится...

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего.

Никон придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березовой коры, подождал, пока тот отопьет, и снова завел:

— А ты говоришь — корова осталась. Птица и та улетела...

— Куда она с ребятенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой и попытался затянуть песню. Вовсе захмелел старик. Голос его дрожал и чуть сипел:

Тю-рима, тю-рима, какое слово!

Гля все-ех позо-орно и страшно-о.

А гля-а миня совсем друго-оие,

Привы-ык к тю-урьме-е давны-ым давно-о...

— Тяти покойника любимая... — затряс головой Култыш, роняя частые слезы. — Фаефана Кондратьевича... Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а, Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому, рассолодевшему старику, заторопилась Клавдия. — Бродни ему всегда мой тятя чинил. Гуляли они вместе. Самонравный был человек, но добрый. Мне одинова зайчонка приволок... Как живого вижу... Ты бы закусывал, хоть капусткой. Хлебца-то нету...

— Отец-то твой, горюн, как живет?

— А-а, — отмахнулась Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И что-то сообразив, Никон быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Никон

хлопнул носом: — За тятю, Фаефана Кондратьевича, царствие ему небесное...

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся Култыш.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Никон снова завел разговор про зверя. Пьяный Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге, мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневили матушку-кормилицу...

— Ну, мор! Закаркал, едрена маты! — сердился Никон. — Корова ходит, а он мо-ор, мо-ор. Добил бы ее, с деньгами был бы, а то обсевком голым и сдохнешь...

Култыш, взбывшись, глянул на Никона, пытаясь что-то понять. Никон уставился в упор, будто на мушку взял:

— Врешь ведь, брешешь про корову! Толкуешь, что в Изыбаше даже пичуги малой не осталось... А уж коли в Изыбаше нет...

— Эх, Никон, Никон. Да рази один Изыбаш в тайге? Рази окромя него нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь... Э-э, не знашь ты, чужая тайга...

— Ты много знашь! Врать только! В Медвежьей пади все выгорело? Выгорело. В Курушке. Чего на твоей Курушке осталось?

— Харюз и тот ушел, — подтвердил Култыш.

— Да и Серебрянка уж не блестит. Вон мужики сказывали...

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы!.. Ска-азывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе усмехнулся Никон.

Култыш подозрительно глянул на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну-ну, не беленись. Чего расходился? Давай еще хлебни да закусувай, хоть капусткой. Свалишься ведь... — заторопился Никон.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив кулаки под голову, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

— Тю-рима, тюри-ма, ка-а-акое слово...

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил на голодный желудок, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, оплакивая его и свою долю.

Никон поднялся из-за стола почти трезвый, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек.

Он снял со стены много раз чиненое ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул в стволы, шелкнул курками.

— Ты куда?— испугалась Клавдия.— Не смей! Таежный закон забыл?

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Никон и с силой отстранил ее.

* * *

За начальником участка Гисзатовым пришли.

— Хороший разговор не дают слушать, — сказал Гисзатов. — Плохо начальником быть.

И, неслышно поднявшись, зашагал по тропинке, ведущей к новому поселку. Точнее сказать — к будущему поселку, из которого должен вырасти городок. Пока же это — много начатых домов, с крышами и без крыш, с окнами и еще без окон, с трубами и без труб. В двухэтажном доме наверху еще ведутся штукатурные работы, внизу уже расположилась контора, громко именуемая управлением, где трещат телефоны, ругается и шумит народ и, как и во всякой конторе, невозмутимо пощелкивают косточками счетов финансовые работники.

Дежурный по участку, молодой инженер Ваня Сычугов, забегая сбоку, рассказывал Гисзатову о том, что приехали московские артисты, и о том, как он, Ваня Сычугов, ловко разместил их в кабинете начальника на раскладушках, чтобы люди искусства отдохнули и набрались сил перед концертом.

Начальник слушал Ваню невнимательно. Более того, на самом таком месте, когда Ваня, млея от восторга, рассказывал, как он опознал одну артистку, игравшую в кинофильме: «Мы с вами где-то встречались», Гисзатов его перебил:

— Злушай, Иван!

Сычугов насторожился. Раз начальник начал говорить с кавказским акцентом и называть его полным именем, значит он чем-то взволнован.

— Злушай, Иван, — подумав, повторил Гисзатов. — Под твою ответственность: сегодня же отдай распоряжение подоединить свет и радио в Вырубы.

— Но вы же сами...

— Что сам? Что сам? — загорячился Гисзатов. — Говорил — много жили люди с лампой, да? Еще поживут, да? Зря говорил.

— И потом, пробовали мы насчет радио. Куда там, к дому не подпускают кержаки, а электроэнергии у нас каждый ватт на учете. Пристань иной раз отключаем. Вот подведем высоковольтку...

— Долго ждать. Нельзя ждать. Столбы на улице стоят, лампочки вверни, свет подай. Не пускают радио в дом, ставь на крышу. Пусть орет! Эх, Иван, Иван! Эта деревня — остров! Целина! Мы как-то забыли в делах про богов, про чертей, про церкви, про темноту. А она еще есть, еще вон за ставни прячется, за ограду, или, как тут говорят, за заплоты. Эта деревня скоро войдет в черту нового города. Нового, понимаешь!?

— Понимаю, товарищ начальник! — с расстановкой молвил Ваня Сычугов и тут же быстро добавил: — Будет сделано!

— На концерт их зови. Обязательно приглашай! — после большой паузы сказал Гисзатов.

Тропинка вилась в кедраче. Земля была усыпана слоем рыжей хвои. Между темными разлапистыми деревьями стояла кривая, тощенькая березка, одинокая, задавленная густыми, мохнатыми деревьями. Занесло вот семя, проросло оно и тоже тянется к свету. Из последних сил тянется.

— И на работу их всех надо к нам, — снова заговорил Гисзатов. — Нам нужен лес, много леса. Они лучше приезжих умеют работать в лесу. Там и заработок хороший...

— Ну, если заработок, тогда агитация не требуется...

— А потом, ты послушай, Иван, — Гисзатов хитро сощурился, — потом одного по одному на курсы, да? Будет кэржак-бетонщик, будет кэржак-монтажник, будет кэржак-мастер, техник, инженер, а, цх!

— Ох, и намучимся мы с ними, товарищ начальник, пока они техниками станут, — вздохнул Ваня.

— Намучимся? А люди не мучились, пока в кучерявую Ванину голову ум вбили, а? Твой начальник Гисзатов в двадцатом году с гор спустился, диким человеком был. Он не мучался? С ним не мучались, да? Вы эти шьтучки бросьте! Вы — комсомольцы! Вас послали сюда не только работать. Дикий край обживать. Угнали кэр-жаков из палаточного городка? Плохо! Говорить надо было!..

— С ними поговоришь...

— Меня звать надо было.

— Ждать некогда.

— Хорошо, что никого не зарезали. Другое время, другой метод должен применяться. Обратил внимание — человек беседует с комсомольцами!? В Вырубах родился! — И начальник рубанул рукой так, словно в ней был зажат кинжал: — Будет город! Гидростанция будет! Кэр-жаков — ннэ будет!

Р а с с к а з т р е т и й

З в е р ь и ч е л о в е к

Никон спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Зыряннике так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей деревни. Старая, давно заведенная в семьях охотников привычка пригодились. В этих семьях всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получилась ли устряпки неудача, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — все на сухари. На полатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со щами ели ребятишки. Если Кулдыш забредал, Клавдия насыпала сухарей в его суму. Да нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Никон смотрел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит. Нет, не умрет Никон с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку

поднимется. Месяц-другой протянут жители Выруб и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти как narosло, но все же зелень — еда. Ну, а за эти два месяца многие перемерут, ой, многие.

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Никон и подивился на себя: вот опять бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Никон больше доверял. Еще с детства он твердо уразумел, что бог-то он бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Никон некоторые обряды и правила староверов, но на самом деле оставался к ним совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что бог даст, и мрут как мухи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят, по-божьи или нет сделал Никон, сходявши на чужие солонцы.

Что же касаемо Култыша, так его в расчет брать не стоит. Для него бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон один он не в силах: ведь каждый закон — худой он, хороший ли — миром создается и миром держится. «Шепериться начнет — вытряхну из избы, и только, — рассуждал Никон. — Сам проговорился, за язык я его не тянул, и потом — за мной правда, а не за ним: хочу голодным помочь».

Никон равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед. Отощавшая Зырянника немощно и бестолково билась на перекатах. По крутым берегам ее стоял недвижно березник со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны и те рыжели. Солнце, беспощадное, вовсе не сибирское солнце, сжигало все, высасывало из скудной почвы последние соки. По узеньким берегам — бечевникам — торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сена нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, обнищает деревня.

Никон с радостью вспомнил, как он мало-помалу подкашивал да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче как тесто на опаре поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор нанесло гари. Никон поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоса. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к реке, топтался возле нее, зашипел вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь черные валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц.

Под утро Никон миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Никону и остановить его. Но пожары уже слились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из этой гущи и, разъединившись на камне, двумя легкими прозрачными крыльями слетала в Зырянку.

Никон втащил лодку в кусты, забросал ее ветками. Отаборившись, согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго, но крепко. Проснулся в поту, лежа на животе, долго, с захлебом пил студеную воду из Серебрянки.

Палило солнце. Никон озабоченно потянул носом. Запах гари был едва слышен. Довольнехонько почесал Никон спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топоришко за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстием у груди.

— Благословясь, — буркнул он и шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными венниками.

Там и сям перепоясывали речку широкие черные ремни отбушевавших пожарищ. Подлесок обуглился, вершины ольховника и черемушника были зловеще темны. Однако половина их еще жила — у комлей, возле воды, топорщились листья. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу.

Мертво.

Лишь голос беззаботной Серебрянки звучал неугомонно, да одиноко и оттого совсем тоскливо ныли квелые от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они впивались в распаренную шею Никона.

— Ах, нечистая сила! На тебя и мору нет!.. — сквозь зубы ругался Никон. Он шлепал себя по шее и швырял горсти битого гнуса в воду. Голос гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину, поэтому он старался говорить меньше и как можно тише.

Будто осенью, с шорохом опадали листья. Ягодники в лесу посохли. Даже смородинник у речки, и тот опустил свои водолюбивые листья. Ягоды на нем раньше времени почернели. Никон срывал мелкую смородину, давил языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался:

— Вот напасть так напасть! Ягода, и та зачичередела! Этакой страсти не упомяну...

Часто попадались змеи. Никон сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с наростом чаги и бил дубинкой гадов со злыми матюками, точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушилось на родной край.

Далеко за полдень он неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел было мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, и он вернулся, осмотрел деревце. Вершина его указывала в верховья речки. Прошел сажень двести — опять сломленное деревце и опять рябинка.

— А-а, Культя двухпалая, твоя работа! — громко, точно встретив попутчика, воскликнул Никон, утомленный тишиной и одиночеством.

Рябинка — деревце хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить его на ходу. Своя метка, свой указатель — рябинки же всегда надламывал и отец, Фаефан Кондратьевич. Это Никон хорошо запомнил из разговоров. Он таки сумел многое на ус намотать из этих разговоров. Пусть следов человеческих здесь нет, одни только рябинки, вроде бы ветром или зверем сломленные, а он твердо знает — солонцы скоро!

Но добраться до солонцов оказалось не так-то просто. Серебрянка, в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает, зовет картавеньким говорком идти по галечному берегу или по еланям и кулигам, примкнувшим к

ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами, речка бьется судорожно, как синяя жилка. Булыжник, плитняк, осклизлые от сырого зеленого мха, сплошь завалили ее. Слоистые бока скал нависли над речкой так низко, что в иных местах Никон пробирался под ними ползком и уже всерьез крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жогнет.

Заломки Култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих гиблых мест. Да и рябинника не было. В ущелье росли только бесплодный боярышник с острыми шильцами, рвущими лицо, гнезда марьиных кореньев да развалистые ветви молитвенно тихих папоротников. Если бы Никон знал таежные приметы, он не опасался бы змей в этих местах. Там, где растет марьин корень, или, как его еще называют, лесной пеон, змеи не водятся.

«И до чего же народ легковерный, — злился Никон, утирая расцарапанное в кровь лицо, — увидел речку снаружи — и назвал Серебрянка! А какая она к лешему Серебрянка? Лихоманка — вот как пристало бы ей зваться».

Наконец речка разъединилась, и Никон остановился на развилке, удрученно соображая — куда же идти? Ущелье волнами расходилось в стороны. Перед Никоном углом возвышался лесистый косогор, не тронутый пожаром. Никон присел на камень, облил себя водой из котелка, гулко екая кадыком, точно конь — селезенкой, напился. Спрятал котелок, задумался и, перемотав портянки, поднялся.

«Тяга воздуха в ущелье, ровно в трубу. Лесок подходящий для солонцов. На Изыбаш похоже. Здесь, здесь должны быть солонцы!» — металось в голове у Никона. Послюнявил палец, подставил — точно, как он и думал, тянет с косогора.

Неожиданно на гладком стволе молодой пихты Никон увидел царапину, заплывшую светлой серой. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. «Ох, не случайная эта царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно: или медведь когти точил, или Култыш метку сделал».

Отшел Никон немного и опять обнаружил царапину на дереве, примерно на таком же расстоянии от земли. Прикинул по росту Култыша — точно, метка! Заторопился

Никон, но ступал как можно осторожней, предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы.

И в самом деле он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и запуталась где-то в густом, забуреломленном лесу. С косогора, начавшегося в развилке, виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце: И там же маячит дерево со сломленной вершиной. Совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, послена земля. Звери, или один зверь — Никон не мог определить — недавно стали ходить сюда. Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще не велика.

Никон не стал приближаться к ней. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не увидел. Тогда он поднял голову, думая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз. Но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык.

Прислонив ружье к огромной сухой осине, — из таких в Сибири делают лодки-долбленки, — Никон сел, пытаясь сообразить — где подкарауливал зверя Култыш? «Не сидел же он середь поляны, лесная кикимора!»

Ходить много возле солонцов Никон остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, вышел человек на поляну и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса был прямо против него, и воздух тянул оттуда. Он глазом прицелился на сломленное дерево. Догадка его подтвердилась: вершина дерева срублена для того, чтобы не заслоняла зорькин свет.

«По всем видам караулка должна быть тут, где я стою. Но ее нет!» — все больше вскипал Никон.

Он уже решил сесть возле старой, в несколько обхватов осины и наскоро прикрыться корьем и мохом, надеясь на дикую удачу, почти уверенный загодя, что дело это бесполезное: марал, а в особенности маралуха с теленком так сторожка, что любое, даже самое маломальское изменение на солонцах отпугнет ее.

Отец, Фаефан Кондратьевич, сказывал, будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет пучка на солонцах и будет мешать — ее нельзя вырывать, — марал заметит. Он знает и помнит здесь каждую былинку. Надо слегка подрезать растение

ножом, зверь на ходу его уронит — вот это другое дело, это он тоже запомнит.

И все же Никон решил садиться. Будь что будет, не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червями. Никон с силой рванул кору, но пласт отделился легко и без шума. И тут Никон не удержался, громко и восхищенно ругнулся:

— Во, ушлый! Ну и голова-а!

Под пластом оказалось скрытое отверстие в дупле осины. Никон просунул туда свою узкую голову. Да, вот она, караулка! Прямо перед глазами — небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем малое и Култыш расширил его ножом, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце.словно бы короед или дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом — пенек. Оконце высоко, и Култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно на карачках, как в нору. Никон с трудом протиснулся туда, втянул мешок. Шевельнуться невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов.

С великими усилиями загородил Никон пластом коры вход в дупло. Чурбачок из-под колен выкатил наружу. Все равно тесно. Дупло как бы сжимало плечи Никона, но он решил все стерпеть, и постепенно обсадился в этом тесном душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла Никон не решался. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит.

Солнце медленно село за дальними увалами, но еще долго колыхалось над окаемом знойное марево. Небо запекалось, краснело, по краям темнело, будто покрывалось окалиной. Из-за осины, от развилка Серебрянки, крадучись выползала удушливая, как чахотка, ночь. Уже чуть не все небо запахло сероватой хмарью, но за сломленным деревом, за далекой далью все еще не остывала раскаленная лепешка. От нее к солонцам сочилась багровая струйка и густела, как бычья кровь. «Страсть какая — быть одному в тайге», — поежился Никон.

Морила усталость, ныли ноги и руки. «Подремлю маленько, ночью свежей будет», — сказал себе Никон и

уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобства в туго сжавшем его полом дереве.

Под рубахой забегали, защекотали муравьи. Никон передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Никона, туманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая волокнистая сердцевина и труха с легким шорохом осыпалась сверху.

Под этот чуть слышный шорох забылся Никон.

Приснился ему Култыш. Он все силился запеть: «Тюрьма, тюрьма, какое слово...», но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался. Никон ждал, напряженно ждал песню, однако вместо песни послышался хруст и стали высовываться зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки, а потом клыки зашевелились, поползла изо рта белая змея и ощерилась на Никона собольей головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею и принялся хлестать ею по голове долгошеего парня. Никон догадался — это его бьют, попытался крикнуть и не мог, рот свело, заполнило вязкой мякотью.

Дернулся Никон и открыл глаза. Долго не мог очнуться. Пришел в себя только после того, когда сердце стало биться ровнее.

«Прости господи!» — смиренно пошевелил губами Никон и прислушался. Все так же рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до того щекотно, что неудержимо потянуло чихать. Никон испуганно зажал в горсти нос. Мужик был скорее готов умереть без дыхания, чем издать какой-нибудь звук. Он не знал, сколько времени проспал. «Может, зверь-то уже на солонцах?» — медленно вытягивая длинную шею, испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. «Только бы руки не закозлились да глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержу», — твердо решил Никон.

Как и в ту давнюю ночь на Изыбаше, на небо поползла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Никон не сразу уразумел, что это все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил едкий запах. «Хорошо это: у зверя чутье отшибает гарь. Корова-то, поди, нажралась и ушла? — тут же спохватился он. — А может, вовсе перестала ходить?»

Никона начали разбирать те сомнения, коих бывает полно у охотника с ненаметанным глазом. Иначе он бы еще давеча по следам заключил — ходит зверь на солонцы или нет.

Впереди что-то мелькнуло. Никон рванулся и больно ударился острым носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожание пальцев его уцепился за спусковой крючок ружья. Однако сколько Никон ни напрягал глаза, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, решив, что ему померещилось, впереди опять ровно бы мячик упругий подекочил.

Никон оцепенел.

В это время рябь ненадолго рассеялась и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал. Послушал, послушал — и кувырк в ямку. Лизнул соленой земли — и опять начеку. «Холера! — беззлобно плюнул себе на грудь Никон, — тоже бережет свою душонку, стервец! Надо быть, пожары его сюда загнали?» Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Никон догадался: зайцев-то двое и они по очереди один другого сторожат.

«Артелью пасутся. Хорошо это. Кулья говаривал: когда заяц на солонцах, марал идет смелей, меньше опасается».

Долго следили пристальные глаза человека за возней большеухих. Но они до того разлакомились, что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут куда более храбрые звери. Никон до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеклками поблескивали глазенки. «Это же теленок!» — ахнул от неожиданности Никон и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. «А у меня глаз-от дурной, урочливый».

Однако не удержался охотник, тут же разомкнул ресницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, сторожко подняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, разрешая своему детенышу отведать соленой земли — звериной сласти.

Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно причмокивал. Длинные его уши пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам. Тогда маралуха бросилась на них, занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая.

— Господи, баслови! — беззвучно пошевелил губами Никон и стал тщательно целиться в корову, явственно видимую в лунной полосе. Зайцы урвали-таки удобный момент, сиганули через куст в ямку. Теленок пугливо шараясь, фыркнул. Мать метнулась к нему и на миг ушла из прицела.

И тут Никона осенило: «Ребенка не кинет, а он глупой, может удрать. Обоих надо брать. Крышка!»

Мушки не видно. Лишь маленькая искорка подвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мараленка.

Занемевшие пальцы рванули спуск.

Искорку загасило пламя.

Раскололась ночь.

По горам и дальним седловинам покатился гул, смахивая душную тишину. И все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, с треском ломая кусты, натываясь на деревья.

А тоненькие, как у комарика, ножки мараленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которой, сколь ни лижи ее, не налижешься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, выцарапывал копытцами траву и корешки, еще заблеял чуть слышно, ему же, наверное, думалось, что заблеял он на всю тайгу, призывая мать, и утих.

— Ну, один спёкся, — облегченно выдохнул Никон и провел языком по пересохшим губам.

Маралуха все еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами. Но вот шаги ее стали замедляться, треск и щелчки прекратились. Она остановилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывая дитенка.

Никакого ответа.

Она позвала еще раз, громче, тревожней.

Ждала ответа, переступая от нетерпения с ноги на ногу. И вдруг закричала на весь лес дико, так дико, что даже человека покорило и он невольно занес руку перекреститься.

Шорох приблизился.

Мать еще не теряла надежды отыскать, дозваться мараленка. Она кружила возле солонцов и, прищелывая губами, настойчиво звала его. Шаги ее, то медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные, доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей.

От гнева и страха дрожат у маралухи ноздри, все ее мускулы напряжены. Она останавливается, смотрит, слушает — не выскочит ли быстроногий малыш, не побежит ли навстречу ей. Она переваливает язык, готовый обливать дитя от кончиков ушей до светленьких копыт.

Тишина.

Был гром, а теперь тишина.

Медленно, как бы пробуждаясь от душного сна, дохнул лес, и между деревьями просочились только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними — страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и заметалась возле солонцов.

— Э-э, чтоб тебя, худая немочь! — свирепым шепотом бранился человек, напряженно всматриваясь в предрасветную мглу.

Луна скрылась.

Небо заволокло тучами, а может, и дымом.

«Или дождик будет?» — стараясь отвлечься, размышлял Никон, но слух его был напряжен до предела.

Невыносимо тяжело сидеть.

Пошевелиться бы.

Суставы, шея, все остомело от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется, будто безумная. «Что, как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод!» — побранил себя Никон.

Сделалось свежей.

Влагой потянуло в отверстие дупла.

«Будет дождь, будет, — радовался Никон. — Раньше бы надо. Ну, ну, чего же ты, язва, пляшешь? Иди же, иди!»

Снова, как в молодости, в ту первую охоту, одолевает желание садануть из ружья так, чтобы чертям. и тем

тошно сделалось. Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хватило даже на полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит. Если ему требуется и выгодно — он до последнего вдоха будет сидеть. Ну уж тогда он резанет эту комолую скотину, резанет!

Далеко за обезглавленным великаном-деревом, должно быть кедром, порозовела кромка неба, стали видны облака.

Никон с ликованием воззрелся на них.

Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Ключками старательно расчесанной кудели несмело наползали они из-за гор, гасили звезды. Коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям, бездымно шаяли.

И вот когда уже посветлело полнеба, когда из леса потекла темнота, высвободжая одно по одному деревья, кусты, пни и валежины, мать, не таясь больше, с гордо поднятой головой вышла из леса и рванулась к лежавшему на поляне мараленку.

Никон не допустил ее близко. Стиснув зубы, он выстрелил в отвислую грудь коровы и, когда она стремительно метнулась, ударил еще раз вдогонку — это уже со зла.

Вместе с пулей вылетело зло.

Залихорадила, затрясла охотника радость.

— Пришла, пришла, голубушка! — ликовал он, с удовольствием слушая свой хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить! Не-е, человек, он...

Никон болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ичиги были переполнены ими. Никон задрыгал ногами, руками, завертел головой, разгоняя кровь, и еле расходился.

— Вот ведь до чего довела! И надо же такую охоту выдумать?! Тьфу! Только с голоду да поневоле стерпишь...

Никон, уже не таясь, вышел на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух, тронул белобрюхого теленка, ухарски сдвинул на нос шапчонку и довольнехонько пошарил в затылке.

— Сейчас мы тебя, милоч, распотрошим. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим...

Как бы ни была смертельна рана, марал какой-то неведомой силой, наверное, даже не силой, а остатным вздохом, последним типком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда его сил хватает еще уйти двести-триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят...

Отыскав следы маралухи, на которых будто рядками клюквы рассыпалась кровавая потечь, Никон довольно потер руки:

— Далеко не уйдешь! Сыщу!

Он закурил, судорожно закашлял:

— Ну и... о-о... кха!.. охота! Мать ее так! Кха-кха! Дыхало все... кха-кха!.. сперло...

Наконец он прокашлялся, отдышался и принялся свежевать мараленка. Одним махом умелого крестьянина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мягонький живот. Ноздри Никона алчно зашевелились.

— Ах, мясо-то, мясо! Нежно, пахуче! И жирен, чертенок! Жире-он! С чего бы это? С удачей тебя, Никон Фаефаныч! Будут и денежки и свежинка... Пофартило! А ты, Культя, паси теленка-то... Х-хы, простота! Из-за нее ты голышем и остался. С твоей бы сноровкой озолотеть можно. Умна голова, да дураку досталась!..

Сделав незаконное дело, Никон, как и всякий пакостник, охальничал словами, забывая остатки страха и совести, убеждая себя в том, что он, а не кто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех!

Он выбросил кишки теленка прямо на солонцы, отрезал ноги, голову бросил здесь же. Запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое дело ему, Никону, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится марал. Ему, Никону, теперь дай бог вытаскать мясо к лодке да незаметно, желательно в поздний час, приплавить его в деревню.

А там... «Никон Фаефаныч, подсоби! Никон Фаефаныч, выручи! Никон Фаефаныч, спаси ребятишек — век богу молиться за тебя стану! Никон Фаефаныч, за ценой не постоим!»

И Никон Фаефаныч выручит, Никон Фаефаныч лишка не возьмет. Он не шкуродер. Придет время, односельчанине его выручат, подсобят на пашне, подмогут с мельницей.

Есть у Никона потайная думка — свою мельницу поставить. Ух, тогда держись! Потечет хлебец. А Култыш пусть бережет теленка-то! Пусть! Без штанов на этом свете жил, без штанов и на том свете перед непорочными девами явится...

Закипела вода в котелке.

Самое нежное мясо выбрал Никон — грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно сглатывая слюну. Не выдержав искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! — И поспешно схватил подолом рубахи дужку котелка.

Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился горячими кусками мяса, круто посыпанными солью. Ел без сухарей, от всей души. Чтобы мясо скорее остыло, он его вывалил на побелевшую от сухости траву. По губам Никона, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам стекал жир. Никон облизывал пальцы, мурлыкал, будто кот:

— Славно, ах, славно! Не уварилось мясо-то, ну да в брюхе доварится... Житье, ей-бо!

Вспомнил Култыша, худого, тощего, злорадно рассмеялся. Съел все мясо до последнего хрящика, попил жижи через край из котелка, с рокотом, сытно рыгнув, небрежно побросал крестики у рта и вытянулся возле застывающего огонька.

Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром.

— Ф-фу, язвы! — закричал Никон, отгоняя мух и недовольно поднялся. Потянулся, звонко треща суставами, собрал куски мяса и мешок и, преодолевая сытную разомленность, двинулся на поиски маралухи.

Прошел двести-триста сажень — маралухи нет. Никон недовольно пофучал носом и последовал дальше. Прямая трава, выбитый мох и багровые капли вели на косогор.

— В гору не уйдешь! Во, уже выдыхаешься! — обрадовался он, заметив шерсть на корявом стволе лиственни. По всей видимости, во время остановки маралуха навалилась на ствол.

Но миновал Никон одну гору, другую, а следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие капель-

ки на листиках или на траве. Вот ключик лесной. Возле него корова полежала, отдохнула.

— Напилась ведь, напилась, подлая! — взвыл Никон, зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого пал огненный бушует внутри.

Еще один перевал одолел Никон, прислушался: нет, ни единого звука не слышно. Тайга как будто притаилась.

Устал Никон, изнемог.

С трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится — уснул.

Спал долго.

Проснулся, когда уже совсем ободняло.

Жадно набросился Никон на перепревшее мясо. Вода из котелка выкипела, и подгорелое мясо похрустывало на зубах.

И в этот день не нашел Никон маралуху.

Сердце царапнуло будто иглой боярки.

— Да какая нелегкая тебя тащит? Все одно ведь не уйдешь! — ворчал Никон по-домашнему одностонно, словно бы на ребятишек. Но уловка не удалась, страх вошел в сердце мужика, хотя он в этом себе еще не признавался.

Спалось Никону беспокойно. Разболелся живот, и ночью он несколько раз отбегал в кусты. «На тощее брюхо недоваренного мяса нажрался! Башка еловая!» — запоздало ругал себя Никон.

Утро наступило хмарное.

Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло слоистыми тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю.

Никон торопился.

Понимал мужик — пройдет дождь, зверя ему не найти. Смоет следы маралухи, а он ведь не Култыш. Тот умеет каким-то своим нюхом особым отыскивать в тайге все, что ему надо. Тайга для него, что собственный двор — для Никона, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки.

Перед Никоном разом возник горбистый перевал. На земле мох, на камнях ржа. Редкий сосняк и приземистые

лиственницы наполовину сухи. В пасмурном лесу на кудельно-сером мху россыпи чуть покрасневшей брусники.

Маралуха стала делать лежки.

Никон облегченно вздохнул.

Теперь-то все, он скоро достигнет корову и с каким же остервенением всадит ей еще одну пулю! На ходу Никон наклонялся, обдаивал пальцами брусничник и высыпал зеленоватую ягоду в рот: «Чего-то весь живот ожгло, может, от ягоды полегчает».

За перевалом, в темно-зеленом лесу змеилась пенящаяся речка.

Никон осмотрелся.

Речка показалась знакомой.

Он хлопнул себя по бедрам:

— Да ведь это Серебрянка! Вот зануда-корова, бродила, бродила и снова к солонцам подалась. А того не возьмет в разум, что сосунок-от ее в сумке за ней ходит...

Маралуха пошла вниз по речке.

Она часто пила, должно быть, не решаясь удаляться от воды.

Никону уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышит вроде бы хриплое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие, расплывающиеся следы.

Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила она из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натыкаясь на запруду, пощеничьи урчала, обсыхая белый вывалившийся язык.

— У-у, падла! — пнул Никон маралуху в куцый зад с нежными подпалинами.

Маралуха чуть посунулась в речку.

Со злобой рванул Никон корову на берег. И хотя ему не здоровилось, он решил сегодня же уйти к Зырянихе.

Прежде чем приступить обихаживать маралуху, Никон полежал на мысочке. В шерсти коровы копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее пауки и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от маралухи и набрасывались на Никона.

Живот коровы был в светленькой пушистой шерсти.

Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели.

Никон отвел глаза и с притворным равнодушием зевнул. Но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивало ознобом, в брюхе у него бурлило и завывало так, будто там делили добычу голодные коты.

— Нажрался, нажрался мяса-то жирного, духовитого! — забарабанил Никон в свой лоб с провалинами на висках. — Ы-ых, кобель клыкастый, до старости дожил — ума не нажил! Шутейное дело — в тайге захворать!..

С трудом обработал Никон корову.

Превозмогая слабость, сделал лабаз на дереве и поднял туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маралухи. Первая ноша должна быть невелика — так рассудил Никон. Вот когда дорогу покорооче к Зырянке сделает, разломается, хворь одолеет, глядишь, благословясь, перетаскает все мясо.

Можно бы, конечно, сплавить за мужиками. Найдутся сейчас такие, что даже с чужих солонцов согласятся поживиться, но больно уж артельно получится, делить надо. И тогда прощай мельница на долгие годы. Нет уж, как-нибудь сам справится. Сам мясо переплавит, сам раздаст, пожалуй, вовсе бесплатно — народ отплатит ему потом за щедрость усердием и почтением.

И мельницу люди миром соберут.

Это будет единственная мельница на Зырянке. Изю всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. Примол знатный будет, а если с умом поставить жернова да небольшую, совсем маленькую утечку муки подладить — вовсе в хлебе купайся. Вот тогда дай бог год на нынешний похожий — не одну деревню обрабатает Никон Фаефаныч.

Обламывая коричневые, как ореховая скорлупа, зубы, Никон упорно размалывал сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний. Однако боль в животе отравляла хорошие думы.

«Какая-то трава ведь есть от живота, или корни? — пытался вспомнить Никон и не мог. — Кулья — тот бы сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он за так раздал бы мясо, развеял бы добро по ветру. Да и не сговорить его. Ему теленочка жалко! У-у, вшивец!..»

Чехарда в голове Никона. Страх его разбирает. Он бредет пошатываясь, а котомка за плечами делается все тяжелей и тяжелей.

Остановился Никон на изгибе речки, брови на переносье собрал, посоображал туго и вынул кусок мяса, бросил его в омут под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал.

Но легче не стало.

Тащился Никон, схватившись за живот. Впереди него возникла мокрая от ключей скала, густо заваленная буреломом, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой-прегустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, ровно бы камни голубого цвета, да и в траве тоже кое-где голубеет камешек. «Вовсе извела хворь, уже сине в глазах, — ужаснулся Никон и, еще раз глянув на голубое ущелье, поморщился: — Обходить придется».

Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, которую даже пожар обошел, вдруг замолкла и куда-то исчезла. Козырек бровей вовсе скрыл воспаленные глаза Никона. Догадка щемящей волной пошла от самого сердца, хлестнула в голову, и он бессильно уронил руки.

— Да ведь это не Серебрянка!

Никон подскочил, вломился в переплетенные заросли. Ветви, жалица, малинник хлестали и царапали его лицо, но он все карабкался на скалу. Уже не боясь змей, хватался за голубые камни, с шумом ронял их.

Вот и вершина.

Откуда только сила взялась — так быстро вымахнул на нее Никон. Соскальзывая, рванулся вниз, чуть не наступил на затаившегося барсука, вздрогнув, шевельнул потными губами, посылая вслед ему проклятия.

Скалы предостерегающими перстами маячили над лесом, и из каждой сочились, били ключи, но речки не было.

— Унырок!

Подвидная штука этакая речка — лесная колдунья. Бежит она себе по тайге, заманивает, а потом раз — и стинула. Точно зарница, мелькнула и угасла.

Затравленным зверем метался Никон между скал, отыскивая выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил Никон топор, порвал стеганый шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги.

Речки не было.

Никон, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину увала. Огляделся. Тайга. Кругом тайга, тихая, угрюмая и настороженная. А над нею клыкастые скалы. От тишины в ушах Никона звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнуло дыханье, голову.

— Завела! Завела-а-а! Охмурила! Оборотень — не корова!

Плечи Никона затряслись, и забились сумка на спине, будто в ней ожил теленок. Голос Никона сделался тонким. Уже без слов, с отчаянием и обреченностью он разрубил таежную тишину воплем:

— А-а-а!

И свалился в мох.,

Тучи опустились низко.

Лес помрачнел, сдвинулся и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую, шуршащую траву первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками.

— Слава тебе, господи! — умильно пропел Никон, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу. Глаза, щеки, лицо Никона защекотали мелкие капли. Лохмы туч набрякли, потемнели, точно собирались с силами, коих хватило бы залить пожары, смочить исстрадавшиеся леса, оживить то, что еще не успело умереть.

— Боженька! Ты ведь добрый! — неожиданно для себя завел Никон: — вот дождика послал, и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помогн и мне. Ну чего тебе стоит, выведи... Либо болеть утихомирь...

И чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, что уж больно хитро обходился он прежде с богом, поминал его лишь при надобности, а в душе презирал, Никон замолк, проклиная себя.

Тайга шумела слитно и величаво, расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свои головы, свое исхудавшее тельце живительной благодати. Растения ловили сухими губами дождь, пили и не напились. Знойное оцепенение спадало, кругом слышался умиротворенный шепот.

Тайга начиналализывать неисчислимые раны и никакого дела не было ей до человека, распластавшегося у ее ног.

Никон слушал, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающуюся жизнь и понял: никто — ни всевышний, ни эта заново оживающая тайга — ему не помогут. «Раньше надо было о боге думать. Полез вот к нему сейчас, когда приспичило. Сам на себя теперь надейся».

Никон со стоном поднялся.

Голова кружилась.

В горле и во рту горькая сухость, тело можжит. Упрямо выгнулся вперед мужик, точно боднуть кого прицелился, и двинулся одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился, прислушался к животу: гнетет, тянет. Одышка появилась. Жар валами ходит внутри. Развязал Никон мешок, подержал в руках мягкий розовый кусок, страдальчески покривился и бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, намереваясь забросать мясо ветками, хватился — нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул и заковылял дальше.

Ноги Никона стали заплетаться. Но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал: «Верно, уж больше не подняться».

Поискал глазами воды, но ее поблизости не было. Земля жадно впитывала влагу.

Никон пососал сырой мох, стряхнул на лицо капли с нижних ветвей пихты и забылся, чуть посунувшись под валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, но руки подламывались, долило к земле.

Снова надолго затих человек.

Очнулся от холода. Все на нем промокло. Никон заохал, сел — из глаз метляки полетели, во рту горечь, как с похмелья, в голове звон, что-то прозрачное кружится перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, вот прыгнула в сторону маралуха, вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту.

— Пить! Пить!

Открыл Никон рот, стараясь поймать этот стремительный, оглушающий поток, который зыбил его, мчал на огненно-жгучих волнах неведомо куда.

На секунду Никон очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращался. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы Никон под-

нялся, пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл...

Срывая ногти, Никон хватался за ствол ближнего дерева.

Поднялся.

Шагнул.

Ноги переламывались в коленях. Он стиснул зубы, а потом шевельнул запекшимися губами, творя несвязную молитву, и побрел от дерева к дереву, как пьяный. Охватив ствол, прижимался горячей щетинистой щекой к холодной коре, подолгу отдыхал.

Дождь измельчал и сеялся, шурша по задумчивой, разомлевшей тайге. Сумерки незаметно смешались с дождем.

Приближался вечер.

И эта наползающая со всех сторон темень сдавила, стиснула Никона. Он воздел руки к хмурому небу и с отчаянием закричал:

— Уверую! Навсегда уверую! Только помоги!..

Глухо и равнодушно шумела тайга.

Шум ее вместе с темнотой надвигался на Никона. Вспомнил что-то человек и, уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настроенной тайге, запричитал:

— Тятя! Тятенька! Прости меня, окаянного! Прости-и-и! Фаефан Кондратьевич, родимый, для деток, внуков твоих сердешных! Култыш, брательник, святая душа, — выручи! Тебе не впервой за зло добром платить. Каюсь. Каюсь! Каю-у-усь! — бился лицом Никон о шишкастый корень дерева, целовал его, а тайга шумела все так же слитно и могуче.

Она сомкнулась, вовсе затемнела; и эта стена, из которой не было выхода, все надвигалась и надвигалась на человека.

Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жадной жизни, Никон ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему, с клекотом в горле захрипел, всхлипнул, заслышав этот живой голос, и рванулся на него.

Долго мочил Никон голову в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и трясся в покаянном плаче.

— Господи, помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил!

Ружье и котелок Никон давно потерял. Холщовый домотканый шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся он трясущимся комком возле живого родника и впитывал сердцем, головою, всем своим нутром, всюю душою незамысловатый говор и радовался тому голосу так, как ничему в жизни еще не радовался.

Шумел дождь.

Сияло солнце.

Бормотал родник.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил расцвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье.

С трудом открывая глаза, видел Никон над собой побратски обнявшуюся ветвями тайгу. И думалось человеку — это она, тайга, не пропускала слабый шепот его до неба, до спасителя. Это она душила его, забрасывала колючими, холодными лапами, и слой их делался тяжелей и тяжелей, втискивая в землю, давил грудь, что каменная плита.

Лес хмурился, шумел, накатывался волнами, как бескрайнее море — океан, всесильный, неумолчный и вечно живой...

* * *

Сумерки спустились и на временный причал возле избушки Изота Трофимовича. Из лесу тянуло холодком, пахло сеном и горьковатым тальником. Трава, листья, ветви на деревьях и каждая хвоинка запотели, предчувствуя заморозок.

Ни шума, ни шороха в лесу. Стоит неподвижно, как стоял, наверно, много-много веков, млея от собственного величия. Лишь из палаточного городка и от нового поселка доносились сипловатые, суматошные гудки кранов, автомашин, визг дисковой пилы и наплывала, то удаляясь, то нарастая, песня из динамика:

...Россия! Россия!..

Россия — Родина моя!..

Россия! Сибири! Что знали о ней эти парни молодые и девушки?

Еще совсем недавно, отвечая на уроке географии, они говорили «своими словами» о том, что Сибирь богата

лесом и пушниной, что это очень суровый край, куда ссылали революционеров, и что там бывают большие морозы, и что сибиряки «дали жизни» фашистам на войне, и что...

Много знали.

Ничего не знали.

Сибирь открывал им сегодня этот старик с серыми щеками, с одышкой, которая мешала ему говорить, вовсе не похожий на медведеобразных, могучих людей, каких рисовало пылкое воображение. И говорил-то старик неторопливо, окая, наподобие волжан. Наверное, Троха, отец его, пришел сюда с Волги. Но попробуй сейчас разбери, откуда, из каких углов России, убегая от нужды и притеснений, пришли в этот край люди? Выпростили себе клочок земли, врубались топорами в дремучую тайгу и прижились здесь, дичая от страха, невежества и тяжелой борьбы за существование.

В небе, как обычно перед заморозком, засветились крупные звезды. Одна звезда запуталась в вершине большого дерева, стоящего на утесе по ту сторону Зырянхи. Рядом с ней возникла другая звезда — зеленая и стала приближаться. Нарастал равномерный гул самолета.

И вдруг кто-то уронил в потемки:

— Братцы! А ведь Култыш и Никон жили тут. Понимаете — тут!

— Жили? Живут еще...

— Култыш — да, а Никоны вывелись.

— А с топорами кто приходил?

— Ну, это другое дело. Это пережитки.

И совсем уж тихий голос:

— А мы с Юркой утром глухаря кокнули. Так, за просто — увидели красивую птицу и...

Изот Трофимович поискал глазами того, кто говорил, но в потемках не нашел.

— Я уж толковал вам — не в глухаре дело, — сказал он и, помолчав, добавил: — Давайте так договоримся — в это воскресенье на охоту, ну? Я возьму часть с собой, а которых сын возьмет. Ходок я, правда, уже не тот, но мы пойдем на мотолодке. Я покажу вам заповедные места, и вы, уверяю вас, поймете, что есть охота. Пойдем туда, где жил и охотился Култыш, — к Изыбашу.

- Правда?
- Обманывать не научен.
- Значит, мы увидим... А что дальше? Рассказывайте, пожалуйста.

Р а с с к а з ч е т в е р т ы й

Т а е ж н ы й з а к о н

В тот день, когда на Вырубы наконец-то полил дождь и во всем: в природе, в деревне, в людях — наступило благодостное облегчение, Клавдия, не глядя в глаза Култыша, сказала:

— Надо искать самово.

Всегда сдержанный, никому за всю жизнь не сказавший худого слова, Култыш сердито отрубил:

— Я его в тайгу не посылал.

От удивления у Клавдии открылся рот.

Култыш схватил свой полушубок и подался на сеновал. Как бы ненароком Клавдия забрела туда, выбрала из гнезд яйца, поправила веники на жерди и снова заговорила, обращаясь к Култышу, сделавшему вид, будто крепко уснул:

— Детишки ведь у нас, Култыш.

Охотник резко приподнялся, отодрал от морщинистой щеки лист и твердо отчеканил:

— Я не посылал его в тайгу — грезить! *

Губы Клавдии дрогнули. Сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась вбок, и сделался он похож на дряблую репку. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба.

— Зачем было тогда болтать про эту Серебрянку? Зачем? — сквозь слезы корила она охотника.

— Вытянул он у меня секрет самогонкой, как удой вытянул. Иуда он! — Култыш отряхнулся и резко продолжал: — За это, знаешь, что бывает? Самосуд! Вот что за это бывает!

Клавдия спустилась с сеновала, долго плакала, приклонившись к дверному косяку. Выплакалась, загремела

* Грезить (местное сибирское) — делать что-то нехорошее.

коромыслом, дала затрещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку, и тот заревел на весь двор.

Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом * на шею, жадиной, который хватает, хватает и подавиться не может.

«Это о Никоне», — догадался Култыш.

Дальше пошло о нем: «Сидел всю жизнь в тайге сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями, и сам как пень стал — ни сердца, ни разуменья. Пришел, взбаламутил...»

Култыш крикнул, перевернулся на другой бок.

Клавдия, не переставая ворчать, выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая.

— Слышишь, ты! — крикнула она громко. — Домовничай тут, а ружье мне дай!

Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, коренастая, крепкая и решительная. И лицо ее было сейчас не такое, что видел охотник всего час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и статью веяло от этой женщины, немного омуживившейся в трудах и заботах.

— Ладно, не дури! — проворчал Култыш, опускаясь по лесенке. Он знал, что «дикая» шутить не любит и пойдет куда угодно, чтобы выручить, пусть постылого, но все-таки живого человека из беды. — И сама пропадешь, и детишек осиротишь, — бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч.

Клавдия отстранилась и хмуро повторила:

— Ружье давай! — И, помолчав, прибавила: — Не думала, что ты такой злопамятный!

Култыш понял намек, смутился.

— Не дури, говорю, — уже испуганно твердил он. — Что тебе тайга-то — коровий выгон? Один дурак забрался в нее — и ты туда же?

— Не твою ума дело! — отрезала Клавдия. — За то, что он таежный закон нарушил, — казните, но в лесу бросать человека никакой закон не позволяет. Да и голод его туда погнал. Голод! Разумей это! А-а, где тебе! Ружье дашь или нет?

* Кибас — грузило у сетей.

— Заладила: ружье, ружье! Чего ты с ним, с ружьем-то, делать станешь? Это ведь не помело.

Он натянул засохшие ичиги, проверил в патронташе заряды, забрал свою суму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную суму с его плеч:

— Куда без сухарей-то?

— Я без еды в тайге не буду.

Клавдия не слушала. Она пересыпала из своего мешка сухари в сумку Култыша, бросила узелок с солью, смягчаясь, сказала:

— Ну, с богом! — Хотела еще что-то добавить, да от-вернулась. — Ступай уж. Бабий язык и бабья слезы в деле не помеха, покипятилась...

Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке.

Он прошел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Зырянки часа два — не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как она расходилась! Гляди, какими словами оглушила! Баба она справедливая. Пожалуй, справедливей ее и не встречал никого. Только покойный отец... Тяжелые слова... Тяжелые...»

Долго стоял Култыш среди обезображенных солонцов, навалившись грудью на палку, насупив свое усохшее лицо.

— Враг ты и есть враг! Покойник батюшка зрящих слов не говорил. И понапрасну жена тебя защищает, по слабости своей бабьей... — с горестным вздохом произнес он спустя много времени.

Собрал Култыш изъеденные зверьками кишки мараленка, унес подальше и закопал. Кострище также убрал, все до уголька. Неторопливо намял в пригоршни семян морковника, побросал их на выжженную плешинку.

Ночевал Култыш уже далеко от солонцов.

Дождь смыл следы маралухи и человека. Но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Никона.

Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево и выхлебал.

В тайге стоял туман — первый в нынешнее лето. Все: и лес, и земля — уже вдосталь наполнилось влагой. Тайга дышала спокойно и глубоко. Дым от огонька

стался низко, головни чуть слышно шипели и пощелкивали. Култыш остатками чая залил огонек, с кряхтением просунул руки в лямки сумы и двинулся дальше, шаркая ичигами, мокрыми от обильной росы. Иногда он останавливался, наклонялся и, точно читая какие-то письма, в силу стародавней привычки, вел разговор с самим собой:

— Эх ты, охотник — горе луково! Вот ты лежал, а вов в ста саженьях — корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, потому как глаза тебе дадены завидушие и оттого незрячие. Медведя бы на тебя стреляного, на сукиного сына, он бы у какой-нибудь колодины сгреб тебя, показал бы, как с открытым хлебалом зверя преследовать...

В том месте, где Никон хватал горстями недозревшую бруснику, Култыш на минутку задержался и укоризненно покачал головой:

— А зеленцу-то не надо бы исти. Марьиного бы корешка выкопать — это ж наипервейшее средство от живота... Э-эх, люди! Где вы взрослые?

Здесь же, на брусничнике, Култыш спугнул выводок рябчиков и, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча: «Вот и птица возврататься в тайгу стала. Жизнь-то, она непоборима, не-ет, брат, не застрелишь, не выжгешь огнем-полынем. — Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку. — И похлебку нам тайга-матушка сподобила».

Здесь, на мшистом косогоре, и заночевал Култыш. Правда, было еще рано и вполне хватило бы времени до темноты минут перевал, но, видно, устал таежный бродяга. Приготовил он дровец на ночь, под бок пихтовых лапок набросал, портянки возле огня погрел, обулся и долго лежал возле огонька, посапывая трубочкой.

Дремал старик. А в дремоте, как в крупноячистой мереже, путались, лезли одно на другое видения разные. Вот Фаефан Кондратьевич манит, зовет. Он в последнее время почему-то чаще и чаще всплывает перед Култышом. Должно быть, свидятся скоро. «Выгорели поди все цветки на могиле батюшки, дерна свежего нарубить надо. Дерн после дождя хороший бывает...»

Пригрело ногу, накалился кожаный ичиг. Не открывая глаза, отодвинулся Култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна, молодая, в белом платье, со стародубом, уронившем головку. Такой и только такой она ему виделась всегда. Ведь до той самой минуты, до ледохода, она была

в его помыслах. Его нареченная... Наверное, тоже родились бы у них дети — двое. Два сына. Нет — сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей, как деревьев в тайге.

Тайга...

Утром Култыш едва разломался. Глянул на небо — светло. «Провалился, старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должен я чаю попить или нет? — злился он неизвестно почему. — Без чаю куда я годен? Обессилею вовсе».

Вкипятил чайку с брусничником.

Пил.

А откуда-то издали смотрели на него гневные глаза: «Злопамятный ты!» Отмахнулся Култыш, чай выплеснул и сердито бросил котелок в сумку.

За перевалом Култыш наткнулся на лабаз, принюхался — мясо уже припахивало. Он перетаскал маралину в речку, смыл с нее слизь и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного кусочка, а только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье.

Пошел вниз по речке.

Возле черемухи с меткой вынул из воды большой кус вымытого до белизны мяса и произнес:

— Чего, Никонушко, тяжко краденое-то?

И снова сердитый голос, рядом, за деревьями, совсем близко:

«Голод его погнал, голод! А-а, где тебе...»

Плюнул с досады Култыш. Стараясь отогнать душевную смуту, пытался думать о чем-нибудь другом — и не мог.

Тем временем сварилось мясо. «Чье мясо? Ты что думаешь, тайга только для тебя сотворена?»

— Тьфу, нечистый дух! — плюнул еще раз Култыш и без всякой охоты поел. Долго потом выковыривал что-то былинкой из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги.

Там унырок.

Там голубые камни — богатство земное.

Дальше этого места Никону не уйти. Лежит, поди, охотничек у огня, помощи ждет и крестится со страха, видя кругом голубое сияние.

В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень — красу земную.

Два человека знали это место — отец, Фаефан Кондратьевич, да Култыш.

Незадолго до смерти привел сюда отец Култыша, показал голубые плиты у ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, кроил горы и утесы, а потом унырнул в землю.

— Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фаефан Кондратьевич и, вздохнув добавил: — Вся гора — голубая. Тайга мохом, травую да бурьяном заслонила ее от людского глаза...

Поднял Култыш плиточку — точно, не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой, с блестками звездочек. Рукой погладил — что льдинка гладкая, холодная.

И сотворится же такое чудо!

А Фаефан Кондратьевич рассказывал, как в солдатах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили, вот губернатор тоже огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, видел Фаефан Кондратьевич колонны из камня, и тот камень мрамором звался. Только был он коричневого цвета с белыми полосками. Куда тому камню до небесного!

Стоял на посту Фаефан в прихожей, во время бала. Народу понаехало — тьма. И мужики доходили там до полной срамоты — целовали бабам руки. Блевать тянуло Фаефана при виде такой гадости, и он, отвернувшись, глазел на каменные колонны, слушал музыку, а она напоминала ему родную Зырянину.

Потом, на каторге, он повстречался с «бунтовщиками» и многое от них узнал. Бесстрашные они были люди, но телом жидки. Не выдержали каторги, сломились, поумирали.

— Умирали, но верили, что придет на землю перемена, — задумчиво говорил Фаефан Кондратьевич и, помедлив, продолжал: — И мой тебе наказ: как наступит в России эта перемена — пойдешь к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости. А пока в тайге оставайся. Не ходи в мир. Там люди злы, а у тебя кость хрупка — измикосят, сожрут тебя. Тут ты — царь, там — рабом будешь. Двуперстникам про камень тоже не скажешь. Здесь же, возле унырка, золотишко водится.

Раскромсают кержаки мрамор, искайлят и горло друг другу перережут. Золото — это зло земное. Помни — тебя первого ухайдакают, не поверят, что у золота и без золота жил...

Без малого тридцать лет с тех пор прошло. Лежит небесный камень кладом, ждет часу своего. Дождется ли?

«Не понапрасну ли ты, батюшка, уберег небесный камень, да меня тоже от людей? Может, надо было отдать его в пользование? Глянули бы люди на красу такую и душой помягчали бы, добрее друг к другу сделались. А так что же, лежит камень, и я возле него караульщиком. Олешачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон Никон таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Теленка я берег, душу малую пас. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя. Говорил ты это? Солдат с войны в верхнюю деревню шел. Японцы на Дальнем Востоке глаз ему выбили. Ночевал на Изыбаше. Говорили с ним про разное. На царя, говорит, очень даже народ остервенился, должно быть, снова бомбой ахнет. Все чего-то делают, чего-то добиваются. А моя жизнь пошто так зряшно прошла? Пошто я обсевком остался?»

Загорюнился Култыш. Глаза его повлажнели, как у пьяненького. А тайга кругом перешептывалась, словно бы успокаивала охотника: не расстраивай себя, Култыш, иди в лес, иди глубже, дальше — и утетишься...

И охотник шел. Медленно шел, сгорбившись, с задумчиво опущенной головой.

Неладно было у него на душе.

Но вот Култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул, возмущенно развел руками:

— Вовсе заблудился охотник-то! Вот те и на! Вот грех-то!

Култыш хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы оправдываясь, бормотал:

— Влево, влево забирать надо. Это же Малая Серебрянка, а во-он гора-то плешатая, там тебе Малая с Большой стекаются. Из горы из этой выныривает — и здорово живешь! Н-на, худы твои дела, худы, Никонушко. Так-то, мил человек. Тайга — клад, да не для каждого. С разуменьем и без корысти надо к нему притрагиваться...

Недалеко от унырка ушел Никон — всего несколько верст. По кругу метался.

Култыш обнаружил его возле родника. Лежал Никон

кверху лицом с широко открытыми, остекленевшими глазами. Култыш скорбно стоял над ним, опираясь на палку. Думал охотник, тяжело думал, и что-то стискивало, щемило сердце его.

В одном глазу Никона, как бельмо, отразилось белое облако, а в другом, словно в зеркале, неподвижно стояла вниз вершиной темная ель. Губы покойного были зелены. В горсти зажат пучок травы. Должно быть, в свой предсмертный час Никон, как собака, ел наугад траву, еще цеплялся за жизнь, надеялся спастись.

Култыш зашипнул сначала правый, затем левый глаз Никона, сложил окостеневшие руки на его посиневшей груди и протяжно вздохнул.

Топор, ружье, мешок Култыш подобрал в лесу. Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, Култыш плотно поел.

После еды отдохнул и стал собираться в дорогу. Срубив две небольшие березки, он перехватил их комли опояской. На вершины березок затянул покойника. Был Никон тощ, но, как и всякое мертвое тело, тяжел. Култыш привязал покойника к волокушам, а мешки и мясо оставил в тайге.

Впрягся в волокуши охотник, поплевал на руки и не спешным, но, как говорят таежники, «усадистым» шагом двинулся к Зырянке.

Под шум волокуш, под шелест леса Култыш думал и молча рассуждал о жизни и смерти и, конечно, о тайге. И в который уже раз таежный скиталец пришел в этих молчаливых рассуждениях к тому, что великая сотвориельница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы — добывать корм; другому — быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо «норок», чтобы ими упасти свою жизнь; птице — крылья. Человеку дан только ум, да и то не всякому. Крыльев же, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как имей эти принадлежности человек, иной давно бы истребил все вокруг себя и сам бы издох смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек иногда все живое истребляет. На войне, на японской, солдат сказывал, несчетное число людей побито. А на каторге, отец говорил, по костям человеческим тачки катали... И пусть Клавдия хоть сколько беленится

и корит его... Нельзя рушить таежный закон. Им жизнь держится...

Так думал Култыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Култыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, не подлежало в его разуме обсуждению и сомнениям. А вот в мире у людей следовало бы кое-что перевернуть, следовало бы...

...На похороны Никона Фаефановича собрались мужики и бабы со всех дворов. Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора... Словно никто и не догадывался, зачем ходил Никон в тайгу. «Стало быть, таежный закон существует не для всех»,—неожиданно подумал Култыш.

На веревочных вожжах, под тихие всхлипы, медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом Никона. Родственники бросали горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченой рукой землицы.

— Не замай! — жарко дохнул кто-то в ухо Култышу.

— Ишь, какой родич сыскался! — раздалось громче.

— Погубил человека, сволочь!

— Не он бы, так не пошел бы Фаефанович в эту распроклятую тайгу...

— Укокошил он его, люди! Ей-бо, укокошил! Сколько ден по тайге шлялся. Живым бы застал ишо.

— Пред-на-ме-ренн-но не торопился...

Култыш сначала затравленно озирался, а потом сник, опустил голову. Со зверем он бы еще совладал, а это ж люди, человеки. И почувствовал он, что вся эта озлобленная голодом, суеврым страхом толпа, колями забившая стародом жалкого киргиза, жаждет отдушины, хочет облегчить себя. Она сдвигается вокруг охотника, точно лес в ненастье.

Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелая от страха, кержаки подталкивают его в грудь к краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся.

Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть одна общая маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячелетняя боль, тупость, смешанная со звериной злобой.

Подхлестывают себя кержаки криками, стервенеют.

— Катаржанца отросток!

- От него злобства на всю деревню нашу перенял
- Он беду напустил!..
- Смести!
- Раздавить!
- Да чего слова тратить? Спускай его!..

Теснее сдвигается толпа и все настойчивей подталкивает к могиле Култыша. Оступись, упали — тут же земель забросают, а потом будут сидеть на запорках, обходить стороной кладбище, шарахаться в собственных дворах от загробных видений.

Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали. Тогда Клавдия закричала на все кладбище с ужасом:

- Люди! Опомнитесь!..
- А-а, полюбовника защищать!..
- Мужнюю веру осрамила, поселенка тряпичная!..
- Молчать! — раздался тонкий, сломившийся от непривычного усилия голос.

Это «молчать!», слышанное только от исправника, ошарашило людей.

Култыш, маленький, седенький двинулся на толпу:

— Чего у меня в горсти? Чтó? — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке змею гремучую или порох, который уже вспыхнул и вот-вот рванет. — Чтó, я вас спрашиваю? — не унимался Култыш и, заикаясь, как в детстве, сам себе ответил: — З-земля! А вы откуда взялись? Из з-земли! А тайга откуда взя-алась? Из з-земли. — Голос Култыша крепчал. — Так почему же не почитаете свою родительницу? Почему кормилицу грабите? Татями живете в ней — оттого и боитесь ее, как мирового судьи. — Охотник передохнул, горькая усмешка тронула его морщинистые губы. — Порешить хотите? Закопать? Валите!.. Меня бояться нечего. Я смертен. А вот она, — показал Култыш через плечо на увалы. — Она — матушка наша — нет. — И кивнул головой на темную, как ночь, могилу. — Он не чета вам был, покрепче костью, ан и его умяла тайга-то! Э-эх вы! Виновных ищите! Скудоумие ваше, темность ваша всему вина.

Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу. Она дробно рассыпалась по крышке домовины.

Сделалось совсем тихо.

Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившей сердца этих людей, не повел их за собой. Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им. И они ему тоже чужие.

В тайгу! В тайгу!

Люди молча расступились перед ним. Люди знали — теперь он уходит от них навсегда — и не пожалели об этом. А лишь позавидовали тому, что он имел при себе такое, перед чем все они вместе взятые и даже смерть были бессильны и ничтожны. И это, приобретенное им где-то там, на увалах и в лесах, никто и никогда у него отнять не сумеет! Это — вечно! Это — неистребимо!

Когда наступил рекостав, Клавдия запрягла лошадь и поехала на Изыбаш попроведать старика.

Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой пихтовых веток, который забивал запах тления. В руке вместо свечи цветок стародуб. Такой же цветок стародуб, что хранила за образами Клавдия еще со дня свадьбы. На столе исходил небесным сиянием голубой камень. Зимнее солнце, проникая в окошечко избушки, ударялось в него косыми лучами, и в камне вспыхивали, переливались искры.

Резвился перекатный Изыбаш, не усмиренный холодом. В торжественном оцепенении стояли леса, провожая в последний путь сына своего. Солнце, ослепительное, морозное солнце сияло в небесах, освещая ему путь. И все шумел, шумел вдали осиротевший Изыбаш.

Хоронить охотника на кладбище «опчество» не разрешило. Клавдия отвезла его за поскотину и на той же елани, где был закопан киргиз с внучонком, схоронила охотника. Весной Клавдия принесла и посадила на одиноком бугорке кедр с тремя пышными лапками. Не хотела Клавдия, чтобы последний покой Култыша затоптала скотина, как это случилось с могилой киргизенка и его деда.

Кеденок оказался живуч и настырен: растолкал чистотел, татарник, лебеду и пошел в рост, вытягивая веточками нитки цветущего вьюнка.

В тот год, когда Клавдия отправила сынов своих учиться в город, а сама, как будто исполнив все, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой Култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть одиноким.

Сыновья Клавдии в деревню не вернулись.

Тот, кто уходил из Выруб, никогда в них не возвращался. Голубой камень — наследство Култыша — достался брату Клавдии.

* * *

— Я передал этот камень в геологическое управление, — произнес Изот Трофимович. — Есть слух, что клуб гидростроителей им облицуют. — Изот Трофимович устало и мягко улыбнулся: — Вот, значит, и вам перейдет кое-что от Култыша и нашей души частица...

Человеческая память подобна старательскому лотку. В ней оседает только золото. Муть, породу и прочие примеси уносит потоком времени. Наверное, потому и сложилась старинная поговорка: «Живых ненавидим, мертвых оплакиваем». Во всяком случае, бобыля Култыша теперь поминают в Вырубях только добрым словом и обычно прибавляют со вздохом: «Если бы он жил в другое время...»

Но мало ли покоится в земле русских людей, не сделавших тех хороших дел, ради которых они народились?

После Култыша нетленной памятью остался хоть кедр и голубой камень, а иные — и вовсе бесследно сгнули.

Изот Трофимович провел по лицу рукой, будто смахнул что-то. Прошлое осветилось зарницей воспоминаний и угасло. Но угасло ли?

Та же земля кругом, та же тайга, в которой жил и которой жил бродяга-охотник. Те же звезды в небе, на которые смотрел он.

Все то же, да не такое же.

Вон за кедровым бором занялось зарево и ширится, ширится.

В Вырубях зажглись огни.

Теперь они подковой огибают кедровый бор. В низовье огни деревни, чуть подальше, на задах кедрового бора, — свет нового поселка, а здесь, выше по течению Зырянки, — огни палаточного городка.

Скоро сомкнутся огни — получится город. И в центре его, у самого сердца, будет стучать шишками о грудь земную кедровый бор, умеющий так мудро молчать вечерами.



СОЛДАТ И МАТЬ

Что мягче пуха? — Сердце матери.
Что тверже камня? — Сердце матери.

Старинное присловье

Женщина запустила руку в ведро, достала горсть овса и стала процеживать его между пальцами. Вокруг женщины снежным вихрем металась куры. Они хлопали крыльями, кудахтали, успевали долбануть одна другую.

Хотя видно мне было только руку да спину, на которой топорщился новый казенный халат, чувствовалось, что женщина в больших годах. Рука у нее будто высечена из гранита и высечена столь тщательно, что видны каждая жилка и жилочка. Кажется, тряхни птичница рукой — и пальцы застучат. Удивительно, как могли эти руки делать такие плавные, как бы певучие движения!

Птичница вытряхнула на ладонь остатки овса, широким взмахом старого сеятеля бросила его впереди себя. Меня что-то встревожило. Я где-то видел такую же руку...

Птичница поправила на голове домашний цветастый платок, который она, по-видимому, носила наперекор инструкциям, и стала рассказывать посетителям выставки о курах, которые торопливо работали клювами, рассыпая дробящийся перестук.

— Из какой области, мамаша? — спросил я, как только птичница выговорилась.

— Калужской. Бывали?

— Доводилось. Воевал в ваших краях. Может быть, и деревню вашу у врага отбивал?

Она назвала деревню. Нет, не доводилось мне бывать в этой деревне. Но я отчетливо вспомнил такое же лицо в сухих морщинах, с глубоко сидящими глазами василькового цвета. И я сказал птичнице те самые слова, которые должны были прийти первыми:

— Перемололось, значит, все?

Она истолковала мой вопрос по-своему.

— А как же! Все перемололось, на выставку вот с курами попала, — негромко и напевно отозвалась она, — хлебца тоже поболее получаем теперь.

И было в ее коротком ответе столько спокойствия, что за этими скупыми словами угадывался другой, более глубокий смысл. А иначе, мол, и быть не могло. Сколькo войн, пожаров полыхало на Руси, а она трудами нашими стояла и стоит.

Птичница снова занялась своими делами, а я долго стоял и смотрел на нее, на эту женщину с выцветшими глазами, в глубине которых еще чуть-чуть угадывался васильковый цвет.

А думал я о той женщине, которую тяжелое железное колесо войны переехало по самому сердцу...

...Я был тогда совсем молодым. Помнится, незадолго до того, как выписался из госпиталя, меня первый раз побрила госпитальная парикмахерша. Побрила, как впоследствии оказалось, из особой ко мне симпатии. В ту пору на моем лице еще, как говорится, волосинка за волосинкой бегала с дубинкой. Но, видно, у парикмахерши той была легкая рука. После того, как покудесничала она, пошла растительность буйствовать на моем лице, и ныне если с неделю не побреюсь — родные дети не узнают.

Помню, побритый, сытый и обласканный, уходил я из госпиталя. Тощий рюкзакишко за спиной, на поясе чехол от фляги. Держу курс на передовую да вспоминаю парикмахершу, хохотушку с грустными глазами, и житье свое беззаботное в госпитале вспоминаю. От чехла чуть слышно доносит буряковой самогонкой. Время от времени я ругаюсь громко и длинно, желая всяких напастей тому, кто придумал стеклянные фляги для военного чело- века. Ведь на последние гроши купила моя «симпатия» самогонки для согрева, а я, не отведавши ни капли, умудрился разбить эту распроклятую флягу! И погодка, как на грех, такая, что без поддержки духу солдату,

привыкшему к госпитальным порядкам и немало разле-
нившемуся, совсем немогуту...

Серое небо чуть не касается пилотки. Сыплется, тру-
сится какая-то нудь сверху. Уж полило так полило бы,
что ли! В такую погоду не грязь месить по чужим доро-
гам, а сидеть бы дома, книжку почитывать, на худой ко-
нец покуривать в блиндаже с накатом и ругать, как душе
желательно, старшину, который черт-те где застревает
всякий раз, лишь только начнется непогода. А потом,
когда прибудет «оказия» (так мы называли хоззвзводов-
скую повозку и кухню), выкушать котелочек-другой го-
роху с тушенкой и задать храпака.

— Э-эх, далеконько же наши ушли! — молвил я
громко и продолжал размышлять вслух, чтобы развеять
скуку: — Шагаю, шагаю, а все орудий не слышно. Хоть
бы скорей на шоссе выбраться — голосовать начну.

Налипла грязь на ботинки. Ногам сделалось сыро.
Ботинки старые — БУ, что по-человечески означает —
бывшие в употреблении. И все на мне БУ. И сам я БУ.
И этот мутный, тягучий, как еловая сера, день — тоже.

На войне хмурых дней больше, чем в обычное мирное
время, и, наверное, потому тогда так сильно давило меня
вогловое, низкое небо.

Мне явственно представилось, как бредут по непро-
лазной грязи мои окопные друзья. Тяжелые пэтээры на
плечах, на поясах подсумки, помятые котелки, лопатки
и прочая благодать, а под поясами, как всегда в дрянную
погоду, пусто. Идут они и не знают, поедят сегодня или
нет, высушатся или мокрые лягут спать, да и придется
ли спать, доведется ли дожить до погожего-то дня? Пе-
хота милая, уцелеть в ней в такую войну — мудреное
дело. Ох, мудреное! Меня вон уже два раза зацепило,
госпиталем отделался.

Отделаюсь ли в третий? Три — роковой счет у сол-
дата, а до Германии еще далеко, до победы — и того
дальше. Между прочим, навоевался я, кажется, досыта и
имею, так сказать, моральное право покантоваться в
тылу. Для этого нужно сделать совсем малость: повер-
нуться «кррю-хом!», как любил командовать ныне покой-
ный сержант Рустэм. Дело в том, что я признан нестрое-
вым. Могу податься на ближайший пересылочный пункт,
предъявить справку, написанную на оберточной бумаге, —

и направят меня на завод или в дорожную часть. Может, и в родной город попаду, там заводов много.

Чудно же, ей-богу, свет устроен! В тот раз из госпиталя я уходил, все было честь по чести: обмундирование, ботинки новые, ремень, пусть ниточный, как лошадиная подпруга, а все равно новый. И вот пальнул какой-то ариец зловредный из винтовки и нет чтобы в мякоть попасть — перебил кость, сделал меня нестроевиком. Иди теперь кирпичики таскай, либо мыло вари, и поскольку ты уже второстепенный боец, то можешь от кальсон и до пилюльки одеваться в БУ. Даже справку, и ту тебе написали на такой бумаге, в какую до войны селедку постыдились бы завернуть в магазине, и флягу стеклянную дали, и паек всего на один день. Иди недобитый солдат, топай до пересылки, и этого пайка тебе хватит, и фляга железная тебе ни к чему!..

Дошел я до полного накала от таких мыслей и шлепал по грязи направо. Со зла на госпитальное начальство перекинулся.

Вдали мигнул огонек и тут же сгинул. Я разом очнулся и невольно огляделся по сторонам. Но кругом не было ни души, и огонек тоже не появлялся. Сделалось совсем тоскливо и тревожно. Я до боли в глазах смотрел вперед, готовый вскрикнуть от радости, если огонек появится еще раз. Где огонек — там люди. А на людях отстанут, обязательно отстанут эти навязчивые думы, это обжигающее душу зло. Скорей, скорей к людям! Я пошел быстро, почти побежал и, когда очутился на окраине тихой деревушки, перевел дух и утер испарину со лба. Чего я, собственно, распахивался? Устал, видно, от войны устал. Все устали от войны. Тяжелая штука война.

Вдоль этой деревни тоже прошла война. Иные избы были разрушены, иные спалены дотла. Многие деревья поломаны, огороды изрыты воронками и окопами. Однако в некоторых избах, судя по полоскам света, струившимся из-за ставней и дерюжек, обитали люди. Они еще не отвыкли жить с закрытыми окнами и рано зажигали свет. Должно быть, кто-то приподнимал дерюжку, и я увидел издали мелькнувший огонек.

На самом краю деревни из-за густого орешника и трех кривых груш бодливо выглядывала избушка. Время придавило ее к земле, затянуло крышу мохом. Я тронул сколоченную из жердочек калитку, но она тут же упала,

потому что не имела петель. Пока я пристраивал калитку на прежнее место, из дома вышла женщина и остановилась на крыльце.

— Чего надо? — недружелюбно и настороженно спросила она, разглядывая меня глубоко ввалившимися глазами.

Должно быть, моя куцая шинеленка, замызганные обмотки и чехол от фляги не внушали хозяйке доверия.

— Я из госпиталя... Мне бы переночевать...

— У меня ночевать не останавливаются, — глухо сказала женщина и отвела глаза в сторону. — Не то место.

— Да не стесню ведь, — настаивал я, исходя из солдатского опыта и принципа — быть в таких случаях настырным.

— Иди вон на тот конец, там изба чище.

— Да уж ноги не идут, тетенька.

— Дойдут, еще молодой.

— Солдата раненого гоните, эх вы!..

Последние слова подействовали на женщину.

— Ну, как знаешь, — обронила она и отодвинулась в сторону, пропуская меня в избу.

Я вошел в переднюю, вытер ноги о старые ватные брюки, лежавшие у порога, и, как полагается, произнес:

— Здравствуйте, люди добрые!

Мне никто не ответил. Это было странно. Обыкновенно в прифронтовых деревнях не хватало жилья и в каждой избе ютилось по две или три семьи. Я стянул шинель, пережившую не одного солдата, и пристроился на скамье под божницей, на которой не было икон. На их месте светлели квадратные пятна.

Вошла хозяйка.

— Народу много осталось в деревне?

— Много. А целых изб — с полдюжины. Забиты людьми, прямо сказать, доверху.

— А у вас почему нет?

— А у меня нету, — отрезала она с раздражением и принялась чистить картошку. По тому, как она чистила картошку, нетрудно было догадаться: эта женщина знала цену человеческому труду и умела экономить. Стружка из-под ножа вилась сплошной ленточкой. Казалось, что ножик и картофелина не двигались. Доносилось только едва слышное поскрипывание — настолько ловки привычные к работе руки.

Нас было десять гавриков в семье, и мать чистила картошку так же споро, но только еще тоньше...

Мать!.. Мама!.. Я закрыл глаза, и вот она передо мной, с узкой грудью, с большим, надсаженным животом, вечно занятая, вечно озабоченная. Каково-то ей без нас? Я пятым ушел из дому, а девки давно замужем. На троих из пятерых уже пришли похоронные, и лежат они у матери под подушкой, вместе с хлебными карточками. Может, четвертая уже там — на войне каждый день убивают. Может, и пятая — это уж на меня — очутится под подушкой. Станет и без того жесткая подушка тверже железа и будет жечь материну щеку пуще березовых углей.

Хозяйка с грохотом вывалила картошку в чугунок. Я встrepенулся и полез в карман за кисетом.

Когда по избе поплыл забористый дух махорки, женщина вдруг потянула носом и на секунду безжизненно повисли ее жилистые руки с трещинками. Эти трещинки снова напомнили мне мать, и я поспешил завести разговор:

— Родных тоже, значит, нет? — А сам думал о том, как обрадуются дома, если нагряться неожиданно, да к тому же несильно изувеченным.

— Ты знаешь что, пришел ночевать, так ложись. — С этими словами хозяйка схватила ведра и быстро вышла.

Я проводил ее взглядом и повернулся к окну. Навстречу моей хозяйке ковыляла старуха. Она остановилась, приложила к глазам руку козырьком, затем неожиданно плюнула и перешла на другую сторону улицы.

Тут что-то было!

Я насторожился и еще раз, но уже внимательней, осмотрел жильё.

Все запущено. Все покрылось пылью, подгнило, перекопилось. Над никелированной кроватью, которая как-то не вязалась со всем окружающим, висели два портрета. На одном был изображен бравый мужчина, на другом — женщина, в которой я с трудом узнал хозяйку. Висели портреты далеко друг от друга, и между ними на белой стене тоже проступало пятно. На этом месте, должно быть, когда-то висел третий портрет.

Вернулась хозяйка с водой. Я внимательно присмотрелся и к ней. На вид ей можно дать под пятьдесят. Широка костью, рослая, худая. Линялый, застиранный

платок, на котором едва угадывались цветочки, нависал до самых бровей. Казалось, будто она что-то потеряла и все время силилась вспомнить: где и когда.

Женщина взяла топор и пошла на улицу. Я догнал ее в сеньках:

— Секундочку, мамаша! Дайте. я разомнусь...

— Ну что тебе нада? Пришел спать, так спи...

— Давайте, давайте, мамаша. Солдат должен помогать гражданскому населению.

— Вот ведь надоедный...

Она все-таки отдала мне топор и возвратилась в избу. За мазаным сараем, стены которого продырявили пули и осколки, я обнаружил несколько сухих яблонек да обломанную снарядами вишенку. Никакой живности нигде не было. О ней напоминали мокрые перья, болтавшиеся на облепленной пометом жерди, да куриная голова с пустыми глазницами, валявшаяся в крапиве.

Тупая, но все еще не остывшая злость снова начала накачивать на меня. Я схватил топор и принялся торопливо рубить дрова. Рубил, рубил, секира сорвалась с топорща, да чуть не в лоб мне.

— Вот так хозяйство!

Позади меня кто-то захихикал. Я обернулся. За низким плетнем стоял голенастый, как петух, парнишка в живописно залатанной рубахе. Ноги у него были настолько вымазаны грязью, что казались обутыми в ичиги.

— Ты чего тут подглядываешь? — спросил я. — Вот попало бы топором в котелок-то — и загремел бы к богу в рай.

Мальчишка шмыгнул носом, почесал нога об ногу:

— Не больно пужай, не из пужливых.

— Смотри, какой отчаянный!

В ответ на это мальчишка выпалил:

— Ты зачем тута на ночь встал? Тута фашистиха живет!

— Постой, постой, — опешил я. — Как фашистиха?

— Так, фашистиха! Не знаешь, так не лезь, куда не следоват.

Выражение на моем лице, видно, было такое, что он посчитал нужным пояснить:

— Ейный сын с фронта смылся и в полицаи наладил. Его наши стукнули во-он тама, — махнул мальчишка в поле.

Я наконец уразумел, в чем дело, и мне отчего-то стало не по себе. Но я был уже битый солдат и потому как можно небрежней сказал:

— Ты вот что, малый, чем болтать, принес бы лучше топоршко какой-нибудь.

Парнишка глянул на меня и исчез. Вскоре он появился и протянул мне аккуратный топорик.

— Только не на вовсе, он дедкин, — пробормотал мальчишка и почему-то посмотрел на мои руки.

— Ладно, не зажилю, — сердито ответил я и принялся вытесывать клинышки для хозяйского топора.

Было время, когда я любил изображать из себя жонглера и не раз являлся к матери с раскрытыми ладонями. И прошло-то каких-нибудь два-три года с тех пор, как мать перевязывала мою руку, а потом накладывала мне по загревку. Но какими недосыгаемо дорогами казалась в этот день из этой деревушки те времена. Я мотнул головой, чтобы отогнать воспоминания. Они всегда настигают меня в самое неподходящее время. Плкнул я на ладони, подбросил оба топора несколько раз и поймал их за топорща.

— Ясно?

— Пор-рядок! — восхищенно прошептал мальчишка и, видимо, от избытка чувств снова почесал ногу об ногу. — Дядь, а дядь, айдате к нам ночевать, а? У нас на полатах теплы-ынь и яблоки моченые есть.

— Не заманивай, малый, не пойду, — ответил я и принялся крушить изуродованный осколками ствол вишенки.

Угрюмый день незаметно смешался с сумерками, когда мы поужинали и стали готовиться ко сну. Ни за столом, ни после хозяйка не проронила ни слова. Я больше не донимал ее расспросами, а свернул сигарку и вышел на улицу. Мне, пожалуй, надо было уйти из этого дома. У того же мальчишки меня приняли бы куда лучше и ласковей. Но я не мог этого сделать. На душе у меня было погано, что-то давило и угнетало, и я не знал, как мне быть, о чем разговаривать с хозяйкой. И все-таки я должен был остаться здесь. Почему? Зачем? Этого я не смог бы объяснить. Я был молод и умел только чувствовать, но не объяснять.

Я курил, трудно думал и невольно дотрагивался до карманчика, где лежала «нестроевая справка». Духота.

Я сделал шаг под дождик, по-мышинному шуршащий в палисаднике. Мелкая пыль защекотала мне лицо, несколько не остужая его. С крыши четко, одна за другой дробинками скатывались капли. Они твердо шлепались на опавшие листья, и чудилось, что где-то совсем недалеко шагают и шагают чужеземные солдаты в подкованной обуви.

В деревне ни звука, ни огонька. Даже собачьего лая не слышно. Неужто и собак война не пощадила?

Хозяйка приоткрыла дверь и не то приказала, не то попросила:

— Ты кури в помещенье. — Она тут же торопливо захлопнула дверь, будто чего испугалась.

Постель она мне приготовила на кровати, а сама забралась на печь.

Я никогда не страдал бессоницей, даже в госпитале ничего снотворного не принимал, но в ту ночь долго лежал с открытыми глазами и не ворочался — боялся потревожить хозяйку. И почему-то из этой тишины, из крошечной темноты опять отчетливо, как днем, появилась мать.

Маленькая, суровая. Доставалось мне от нее. Я был последним в семье. А последнего больше балуют и больше лупят. Отец работал конюхом на подсобном хозяйстве, любил выпивать, покупал нам пряники и никогда не обижал. Я лънул к отцу, а мать недолюбливал.

Молоденький все же я был в ту пору, очень молоденький. До войны я даже костюма не нашивал и, грех сказать, только на фронте попробовал колбасу, сыр, яблоки. Небогато жила наша громадная семья, стараниями матери жила.

А я вот не смыслил ничего и обидел мать. Она лежала хворая, когда я уходил из дому на войну. Она не плакала, не целовала меня, она ругалась. «Ты беспутную голову свою там зря под бомбы не подставляй!» — наказывала она, а я улыбался. И вдруг мать жалко всхлипнула, схватила меня, прижала к себе: «Хоть бы ты не уходил!»

Я еще никогда не видел ее в таком состоянии и оттого растерялся. Мне сделалось неловко, и я накричал на мать: «За кого ты меня считаешь? Я самолично извергу Гитлеру морду намочалю!»

Мать как-то до обидного снисходительно покачала головой и с протяжным вздохом молвила: «Ну-ну, не сер-

дись, не сердись, тебе лучше знать, что делать, — ты грамотный...»

И больше не прибавила ни слова. И поныне я вижу ее такой же, как при прощании: сломленной утратами, ослабевшей на минуту и с такой печалью в глазах, какой я уж никогда ни у кого не видывал.

— Мать!.. Мать!.. — шептал я в ту давнюю ночь. — Охота увидеть тебя, сейчас охота! Приснись хоть во сне, поговори со мной, или взгляни, и я пойму, что делать.

Стыдно солдату, да еще дважды раненому, да еще с медалью так блажить. Но что поделаешь? Что было, то было — из песни слова не выкинешь — блажил, звал, тосковал, кручинился. Сейчас в этом можно признаться, годы прошли, люди не осудят, они научились кое в чем разбираться, кое-что друг другу прощать. Замечаю я — добрее сделались наши люди, отмякли, как апрельская пашня.

А в войну злы мы были: бесхлебье, горе, обиды, утраты сделали нас такими.

Уж не помню, как и забылся я тогда. В детстве я спал под отцовским тулупом, пропахшим конским потом; и, когда уснул, ко мне со всех сторон поплыл этот запах, смешанный с духовитым сеном. Мне, очевидно, снился наш дом, но я все заспал и ничего не мог вспомнить, оттого что, потревоженный пристальным взглядом, дернулся и открыл глаза.

На столе, чуть привернутая, горела лампа. Около нее, будто окаменелая, сидела хозяйка с шерстяной шалью на плечах. Она смотрела на меня. В глубине ее глаз махоньким ядрышком отражался огонек лампы. А может быть, лампа осветила далеко упрятанное и затвердевшее зернышко — горе. Этакое невянущее, но и не прорастающее зернышко.

— Вы что не спите?

Хозяйка вздрогнула, подхватила свалившуюся с плеча шаль и сказала, закручивая пальцами кисточку:

— Не спится. Нетути мне сна.

Было невыносимо тягостно смотреть на нее, но еще тяжелее молчать. Я кивнул головой на портрет, с которого, еле заметный, глядел в сумрачную избу мужчина, и спросил:

— Муж, да?

— Мой. Данил. Садовником был, за год до войны помер. — И, отвечая на мой немой вопрос, она добавила:— А я птичницей работала, на выставку как-то ездила. Давно это было...

У меня уже вертелся вопрос насчет сына, однако я вовремя спохватился и заменил его первым попавшимся:

— Теперь — в саду, вместо мужа?

— Не-е... Я с колхозу вышла...

— Чего так?

— Бабы проходу не дают.

Я заметил, что хозяйка изо всех сил старается говорить спокойно и потому произносит слова осторожно, медленно, будто удерживает то, что может зазвенеть и ненароком разбиться.

— Сам-то женатый? Детки есть?

— Нет еще. Не успел жениться...

— А-а, — с сочувствием и, как мне показалось, даже с сожалением протянула она и задумчиво продолжала:— Придет время, женишься, детки пойдут...

— Это еще на воде вилами...

Хозяйка быстро взглянула на меня, а потом перевела глаза на квадрат между портретами, и складки у ее рта сразу сделались строже.

— Иной раз и живой человек мертвому завидует. Вот у меня сынок был, — выдавила она, — ён покойный, а я за него казнь от людей принимаю. — Женщина задумалась, глядя мимо меня, за окно, по которому неслышными червячками сползали головастые дождевики. Порыв ветра налетел на избушку, толкнул по ней, что заряд бекасиной дробы. Червячки заскользили проворней. Но ветка груши качнулась и размазала плакучие струйки по стеклу.

— Ветер начинается, разнесет тучи с дождем, легче тебе идти будет, — тихо произнесла хозяйка.

— Да-а, может, и легче, — неопределенно протянул я.

И снова хозяйка быстро взглянула на меня.

— И затяжная непогода проходит, — заторопился я. — У вас тоже все пройдет, ваша-то вина какая?

— Мир понапрасну не судит! — Женщина завакнула шаль на груди, будто ей разом сделалось зябко, однако вскоре расслабленно уронила руки и закрыла глаза. — Говорят, гадюка когда родит, то пожирает гадят, если

они не расползаются. А я вот вроде бы и не змея, а то же...

Видно, у хозяйки перехватило горло или сдавило сердце. Она заученным движением человека, которому никто ничего не подает, нащупала на столе кружку, отпила глоток и продолжала ровно, почти неслышно:

— Одно дите — свет в окошке, так в народе говорят. А мое дите мне весь свет застило. Чуть чего бывало нашкодит, я его, как курица-парунья, — под крыло. Школу бросил — под крыло, пить взялся — обратно туда же, девушку-невесту избидел — шито-крыто сделала, и все это мне шалостями ребячьими представлялось. Только уж когда он товарищей в черные дни спокинул, когда чужеземцу в услужение нанялся, я очнулась и вижу: ничего-то он не любит — ни родную деревню, ни мать...

Хозяйка опять поднесла кружку ко рту. Посудина стучала о зубы. Должно быть, вода показалась хозяйке студеной, и она принялась греть кружку руками.

— Э-эх, кабы прежние годы вернуть, кабы сызнава все начать... — без всякого перехода снова заговорила хозяйка. И тут до меня дошло: это она по привычке беседует сама с собой.

Внезапно хозяйка умолкла. Как бы пробуждаясь от обморочного сна, она огляделась кругом и дунула на огонек.

Изба разом провалилась в темноту. Шум ветра словно бы усилился. Стало слышно, как скребется в окно по кошачьи ветка груши и где-то наподобие коростеля скрипит незапертая калитка.

— Ты с госпиталя на фронт или как? — донесся через некоторое время голос женщины с печи.

Вопрос был таким неожиданным, так он меня ужалил, что я, сам того не замечая, подскочил и оскорбленно, грубо бухнул:

— А куда же я могу еще?

— Да мало ли куда? Свет велик. Ох-хо-хо, война! Многим она очи позакрывала, но многим и открыла... Ну, спи, мешаю я, а путь долг...

Хозяйка ворочалась и вздыхала, а я переживал, когда она уснет, и пытался представить, как она провожала сына на фронт: голосила, поди, наказывала, чтобы он был не хуже людей, не позорил бы себя и родителей своих...

Захотелось курить. Я поискал бумагу и наткнулся пальцами на справку. Ага, ее-то мне и надо! Насыпал я в хрусткую бумагу махорки и, уже не боясь потревожить хозяйку, свирепо рубанул по «клатюше». Фитиль затлел. Я раскурил громадную сигарку и откинулся на подушку.

— Ты чего такую душную бумагу куришь? Газеты нет, что ли?

— Нету...

Снова тишина. Перестал шуршать дождь за стеной, ослабел и ветер, даже слышно, как трещит сигарка, вспыхивающая при каждой затяжке.

Вот и губы обжигает. Всѐ! Я кинул окурыш к порогу, и он, описав кривую, зашипел в лохани.

— Ну, теперя спи с богом, — тихо и, как мне показалось, с облегчением вымолвила хозяйка. Я вытянулся, закрыл глаза, и сейчас же меня прикрыла ночь, мягкая, теплая, ровно отцовский тулуп, так славно пахнущий домом.

Проснулся я поздно. Сквозь затейливо изогнутые ветви груш, на которых висели неснятые плоды, в избушку пробивались солнечные лучи. Дождь иссяк, выдохся. Я быстро собрался в путь. Но хозяйка велела мне сесть за стол и достала из печи закутанный в шаль горшок с толченой картошкой.

Я ел, а она со скрещенными на груди руками стояла возле печи и, сколько я ее ни упрашивал поесть вместе со мной, за стол не садилась. Она смотрела на меня жадно, с большой и доброй печалью. Потом помогла мне надеть на плечи вещмешок, мимоходом застегнула крючок шинели и проводила до калитки.

Я протянул ей руку. Она удивленно уставилась на меня своими до дна заплаканными глазами. Глаза эти все еще сохраняли васильковый цвет. И яркие же они были когда-то, раз уж соленые слезы не отъели всю голубизну, не смыли ее начисто!

Хозяйка осторожно подала мне руку, ровно боялась, как бы тут не было какого-нибудь подвоха.

— Ничего, мать, все перемелется, — сказал я и никак не мог подобрать других нужных слов. Я помолчал, еще раз тряхнул ее руку и тверже повторил: — Перемелется. Отойдут наши люди сердцем и простят тех, кто прощения заслуживает, — не злопамятные мы...

— Этим и живу, — ответила женщина, глядя в сторону.

Уже за околицей я оглянулся и посмотрел на крайнюю приземистую избушку.

Над давно не стриженным орешником покачивалась худая рука, будто хозяйка бросала вслед мне шепотью зерна. Не понять было — машет ли она или по старому обычаю — благословляет. Если то было благословление — пришлось оно в час добрый: не дрогнув прошел я сквозь все военные страсти, победителем вернулся домой.

...Вот какой случай напомнила мне птичница, которую я встретил прошлым летом на сельскохозяйственной выставке.

Прежде чем уйти от женщины, делающей свою маленькую хлопотную работу, я, как тогда, в войну, поклонившись, сказал:

— До свиданья, мамаша!

Она взглянула на меня, редкие ресницы ее, полусмеженные от усталости или привычно скрывающие что-то, распахнулись на мгновение, показали мутные глаза с тихой, едва заметной голубизной.

— Доброго пути, милый сын, — молвила она и занесла руку, словно бы для прощального привета, но лишь поправила халат на ровной груди.

Я шел и все время чувствовал на себе ее взгляд...

1954—1959



ЖИВАЯ ДУША

Живут в лесном поселке два друга.

Один из них высоченный, широкоплечий, с круглым лицом, в которое, казалось, влезли зарядом картечи, но картечь только сделала вмятины на твердой коже и отскочила.

Другой — низенький, кривоногий, с картавеньким горбком и до невозможности курчавой головой.

Первого лесозаготовители слышали только в дни полочки. Выпив литр водки, свою минимальную дозу, он затыгивал: «Там в мешках были защиты трупы славных моряков» — и при этом так печально смотрел куда-то мимо людей, что уборщица тетка Секлетинья начинала сморкаться в передник.

Другой же беспреестанно тараторил, сыпал прибаутками, побасенками.

Один из них работал трактористом, другой — чокеровщиком. Верховодить должен был старший и по возрасту и по работе, но отчего-то главенствовал второй. Он звал своего тракториста игриво — Жорой, а тот его добродушно — Петрухой.

Никто не смел потревожить Жору, когда он в горестном оцепенении тянул глухим, простуженным голосом песню. Лишь Петруха смело подсаживался на его кровать, обнимал друга за могучие плечи и тенорком подтягивал: «Море знало, волны знали...»

Голос Жоры медленно угасал. Жора кренился на плечо своего помощника, и Петруха терпеливо ждал, когда тот отойдет ко сну. Осторожно свалив друга на подушку, Петруха подолгу растирал онемевшее плечо.

Во сне Жора скрежетал зубами. Люди в общежитии, проходя мимо, сожалеюще вздыхали, а тетка Секлетинья разувала Жору и подолгу сидела возле него, скорбно подпервшись руками.

Был Жора в войну моряком. Корабль, на котором он плавал, немцы потопили в Балтийском море. Жору ранили, и он попал в плен. Его подлечили и показали человеку, который похлопал Жору по спине, как ломового коня, а потом удовлетворенно прищелкнул пальцами, и Жора оказался на руднике. Может быть, виделось Жоре во сне, как плюгавенький немчик подпрыгивал, чтобы дотянуться кулачишком до его лица. Может быть, снился ему весенний день, гул самолетов — своих самолетов! Заслышав его, Жора рванулся наверх, а навстречу ему надсмотрщик, плюгавенький, золотушный, воробьиной грудью дорогу преграждает, лопочет сердито. Хватил Жора куском породы по башке этого фашистского холуя, перешагнул через него и вместе с толпой пленных выбежал из рудника на солнце, чтобы пережить радость победы. Но пережил самую горькую обиду в жизни. Его заподозрили в измене Родины, и не по своей воле оказался он на Урале, в далеком леспромхозе.

Прошло несколько лет, пока обнаружилось недоразумение и Жору восстановили в правах, дозволили именоваться советским гражданином.

Замкнутый от природы, Жора сделался еще более нелюдимым. Один раз попробовали расспрашивать Жору лесорубы, оторвали от печального созерцания чего-то, известного только ему. Моряк вместо того, чтобы разговаривать, вдруг разбушевался. Общежитие было разгромлено, население его спасалось бегством в близлежащий лес.

Три дня ходил после этого случая Жора как обваренный. Виногато глядел на людей, глазами молил их простить его, а говорить ничего не говорил. Ребята больше к нему не приставали. Девушки же всегда его сторонились, а теперь и подавно.

Вечером Жора сидел неподвижно в углу барака, смотрел, как люди варили картошку, рубились в домино, жарили до красноты печку, писали письма. Писать ему было некуда и некому.

Но вот однажды в бараке появился новый парень, а может, и мужичок — возраст его определить было трудно. Из видавшего виды солдатского вещмешка он вынул

домашние калачи, лук, горбыль сала и рядом со всем этим добром с пристуком поставил пол-литра, приговаривая:

— Живем не скудно, получаем хлеб попудно. Душу не морим — ничего не варим!.. А ну, героин-лесорубы, навались! Распатроним это хозяйство в честь знакомства. Меня Петрухой зовут. Я — мужик вятской, из той самой губернии, где народ хватской и догадливый. Если, к примеру, трава на бане вырастет, мы ее не косим, а корову на баню волокем, чтобы съела.

Наговаривая, Петруха пододвинул к столу, похожему на нары, скамейки, собрал по тумбочкам кружки. Со словом: «Минуточку!» — взял из рук одного парня складной ножик, подмигнул тетке Секлетины и первой ей поднес угощение — пару глотков на дне кружки. Тетка Секлетины начала церемонно отказываться, говорить, что грех это, но Петруха уломал-таки старуху, и она оскоромилась, глотнувши зелья. Замахала тетка Секлетины руками, как ворона крыльями, глаза ее из орбит подались. Петруха на кончике складника, с соблюдением вежливости, сунул ей в беспомощно открытый рот кубик сала. Уборщица повалила в беззубом рту сальце и с испугом спросила:

— Это что же за вино такое, аж надвое душу перешибает?

— Самодельное, бабка, самодельное. У меня все самодельное. И сам я самодельный...

— А подь ты к лешему! — беззлобно отмахнулась от него тетка Секлетины.

Ребята тянулись на Петрухин говор, как верующие на колокольный звон.

Конечно, на такую ораву Петрухиной поллитровки не хватило. Нарядили тетку Секлетины посылной к продавцу, поскольку магазин уже был закрыт. Она, как всегда, поворчала, побранилась и пошла уламывать продавца, выговоривши при этом условие, что в общежитии ничего не будет «поломато» и не получится никакого озорства. Ребята, как всегда, дружно клялись «сохранить вверенное ей хозяйство в норме».

Из того же рюкзака Петруха вынул завернутую в домашний рушник двухрядку, и пошло веселье. Петруха так вывернул у гармони меха, такие штуки начал выдвигать кривыми ногами, что парни лезли целовать его от восхищения.

И вдруг Петруха заметил одинокого человека, который с тоской и досадой косился на гуляющую публику.

Бросил гармонь Петруха, вылил из чьей-то поллитровки водку, как из своей собственной, и к Жоре с кружкой:

— А ну, давни! Размочи соль на душе!

— Не хочется.

— Ну-у? — понарошке удивился Петруха. — Вот так конфуз, а я тебя за морячка принял. Гляжу: тельник, грудь — все в ажуре. Звиняюсь... — Бесенята в глазах Петрухи так и подпрыгивали, так и метались.

— Ну ты и парень! — покачал головой Жора. — У нас матрос один, вроде тебя, служил. Бывало, на камбузе травить начнет — стон стоит... Убили...

— Так помянем же геройскую личность...

С этого началась дружба.

И с тех пор, как появился в общежитии Петруха, моряк больше не превращал казенный инвентарь в утильсырье и реже стал во сне скрежетать зубами. Сумел Петруха проникнуть в непостижимо сложное нутро моряка. Жора смотрел на друга влюбленными глазами. А в поселке все чаще и чаще слышался хвастливый голос Петрухи: «Мы с Жорой», «я и Жора», и «у нас с Жорой».

Однажды Петруха затеял драку в клубе, разбил нос киномеханику, но никто за парня заступиться не решился. Это понравилось Петрухе, и он стал еще чаще хориться.

Долго терпели поселковые парни от него обиды, но однажды не выдержали и отбили бы Петрухе печенки, да откуда-то взялся Жора, расшвырял дерущихся, как щенят. С этих пор он везде и всюду сопровождал своего помощника грозным стражем.

Лишь деловые вопросы Петруха решал сам, без участия Жоры. Он скандалил в конторе насчет нарядов, доставал где-то зимнюю смазку, новые запчасти, ключи. Зарабатывали они больше всех трелевщиков. Многим думалось — заработки эти от силушки и стараний Жориных. Петруха не рассеивал в людях этого заблуждения и даже другу не рассказывал о том, как «жмет масло» из начальства.

Если по нарядам выходил небольшой заработок, Петруха со скучающим видом говорил так, чтобы слышал начальник, старый, слабовольный человек, что надо ему

с Жорой брать расчет и подаваться из этой шарашкиной конторы туда, где умеют по-настоящему ценить работяг. Слово «работяга» Петруха употреблял часто и произносил его с особым нажимом и значением. Жорой на участке дорожили и упрасивали Петруху не говорить моряку ничего о расчете, обещали найти незаписанную древесину и «находили».

В дни получек Петруха переводил по почте деньги. Он объяснял Жоре, что у него в деревне живут жена, малые дети и престарелая мать, живут неважно. Вот он и подался из колхоза на заработки.

Ходили по поселку слухи, что Петруха вовсе и не женат и что он изъездил по вербовке всю страну. Однако никакие наветы не мешали дружбе тракториста и помощника. Жора тащился за Петрухой на почту, с благоговением и нежностью смотрел, как тот усердно заполнял переводный бланк, и настойчиво совал ему в руку скомканные полусотенки. Петруха отталкивал Жорину руку, отказываясь изо всех сил от его денег, а Жора умоляюще бубнил:

— Ну возьми же. Пусть там от меня гостинцев ребятишкам купят...

Но, как ни ловчился Петруха, язык все-таки подвел его.

— Намудрили опять с нашими нарядами в конторе, — сообщил он однажды Жоре и, подмигнув, похвалился: — Да я все раскопал, даже пяток кубометров за вчерашний день лишних сыскал.

Жора пристально глянул на него, собрался что-то сказать, но раздумал. Лишь после смены он остановил трактор возле приемщицы и обронил:

— Пять кубов нам сегодня не записывай.

— Почему?

— Петруха еще вчера их оформил.

— По ошибке, что ли?

— Скрохоборничал.

Жора с силой нажал на рычаг скорости, и удивленная приемщица исчезла с глаз. Петруха, сидя рядом с Жорой, снисходительно улыбался, но глаза его при этом были растерянные.

Теперь Петруха все чаще стал ловить на себе внимательные взгляды друга. Чувствовал он себя под этими взглядами беспокойно, начинал слишком уж весело похотывать, покровительственно хлопать Жору по плечу.

Как раз в это время появился на участке **новый** технорук, этакий вчерашний студент, в клетчатой рубашке, материя которой, по мнению Петрухи, годилась на **бабью юбку**, но отнюдь не на мужскую одежду.

Фасонистая рубашка на техноруке быстро выцвела, **припачкалась** смолой, и сам он почернел на солнце, и нос у него облупился. Удивительно **взедливым**, **настырным** и **веселым** оказался этот студент. Он быстро и, как **показалось** Петрухе, **безо всяких усилий** затмил его, **наипервейшего балагура**, и, мало того, не позволял **«жать из себя масло»**.

Петруха тихо и **накрепко** возненавидел студентика, **подковыривая** его при всяком удобном случае. Жора не **обращал** на технорука никакого внимания, работал, как прежде, в полную силу, без грома и шума.

Зато технорук все внимательной присматривался к моряку.

На участке строился детсад. Рабочих не хватало, и комсомольцы после смены стали **помогать** строителям. Однажды технорук пришел в общежитие и позвал Жору.

— Я не комсомолец, — буркнул Жора и завалился на кровать.

— Выкушали? — **прищурился** Петруха. — Рекомендую **кваском** запить, потому как водку вам нельзя, водку могут **употреблять** без ущерба для здоровья только **беспартийные**, вроде меня и Жоры.

С этими словами Петруха **вынул** из тумбочки початую бутылку, **эффектно** наполнил два стакана и **одни** протянул другу. Но Жора **отстранил** стакан. Петруха **ужоризненно** покачал головой, глядя на технорука:

— Вот, видите, испортили хорошему человеку **аппетит** и **настроение**.

— Хороший человек с дрянью **не водится**.

— Вы это о ком? — вежливо **поинтересовался** Петруха, **приподнимаясь** с табуретки.

— Все о том же.

— А все-таки?

— Хотя бы о вас.

Петруха **смерил** некрупную, еще **по-юношески** **угловатую** фигуру технорука **презрительным** взглядом и, **по-блатному** **пришепetyвая**, **выдавил**:

— **Выйдем**, **юноша**, **отседа**, чтобы в общежитии **пыль** не **поднимать**. **Культура** — **залог** здоровья...

— Драться?

— Да нет. Какая может быть драка? Я вам просто дам по шее разок и отпущу с богом.

Технорук закусил губу, огляделся. Ребята в общежитии молча и с интересом наблюдали за ним. Встретившись с его взглядом, они опускали глаза. На этих надеяться нельзя, никто из них даже из барака не выйдет.

Жора как будто дремал. Его глаза чуть светились сквозь прямые, негнувшиеся ресницы.

Губы технорука тронула усмешка, он решительно направился к выходу.

Петруха сделал несколько торопливых глотков прямо из бутылки и, вытирая губы рукавом, весело заявил:

— Сейчас наш начальничек маму кричать будет. Потеха!

Из угла раздалось тихо, но так, что ребята на соседних койках расслышали:

— Больше заступаться не стану...

Что было после этого на улице — неизвестно. Только принесли Петруху связанного и бросили, как мешок, на кровать. Бессильно рыдая, он вопил:

— Где есть правда? — Подняв голову, Петруха смотрел в затылок Жоре и просил: — Дру-уг, развяжи!

Но Жора спал до того крепко, что Петруха не мог его добудиться. Петруха искусал всю подушку и успокоился поздно, с перьями во рту.

Назавтра технорук встретил тракториста с помощником как ни в чем не бывало. Только глаза его щурились чуть лукаво и губы нет-нет да трогала легонькая усмешка.

Вечером он снова пришел в общежитие и снова позвал Жору на строительство.

— Ну что ты пристал к нам? — бешено заорал Петруха. — Мы смену проишачили. Кубики дали — и отшейся! — Он уже не обращался к начальству на «вы».

Ни тракторист, ни помощник на стройку не пошли. Однако на другой день Жора прямо из столовой двинулся к детсаду. Петруха остервенело прошипел ему вслед:

— Жванина!

Технорук совершенно спокойно встретил Жору и велел ему прибавить лучинки к стенам для штукатурки.

Жора поглядел на мелкие гвоздики в банке, на хрупкую дранку и с улыбкой сказал:

— Неподходяще.

Ему предложили копать ямы под столбы. Жора согласился.

А весной начальник утащил Жору на охоту, после чего сам моряк обзавелся ружьем и бродил по лесу один. Дичи он почти не приносил, но все свободное время пропадавал в горах и пить перестал даже в дни получек.

Петруха вовсе помрачнел, прекратил разговоры с Жорой и даже намекнул ему, что уйдет в помощники к другому трактористу. Но Жора очень долго не замечал демонстративного молчания своего помощника и намеку его как будто не придавал никакого значения. Тогда Петруха запил, а напившись, тянул все одну и ту же песню: «Море в ярости стонало...», чем, видимо, и пронял душу Жоры. Моряк начал униженно выслуживаться перед своим помощником, а тот так куражился над ним, что люди плевались от досады и огорчения за бывалого человека.

Так продолжалось до самого лета. А в жаркий июньский день в лесу у Жоры с Петрухой произошел разрыв, и окончательный. И случилось это из-за цыплят рябчихи. Из-за крохотных головастых цыплят.

Рябчиха выскочила из-под сваленной ели, к которой Петруха прикреплял чокер — трос, и побежала. За ней посыпались бескрылые, пуховые цыплята. Мать в панике завлекла детенышей в муравейник и на них напали хозяева-муравьи. Цыплята беспомощно бились в муравейнике, с писком открывали желтенькие клювики, а мать металась вокруг, хлопала крыльями, совершенно потеряв голову и забыв о предосторожности. Иначе она увидела бы, что к ней с раздувающимися от азарта ноздрями подкрадывался Петруха. Он уже размахнулся, чтобы сразить птицу палкой, но за кисть его схватила железная рука.

— Рехнулся! — донесся до Петрухи дрожащий от ужаса или от гнева голос Жоры. — У нее малыши, а ты...

Жора бросил Петруху в сторону и вытер руку о штаны с таким видом, будто держал в ней склизкого лягушонка. Затем он с непостижимым для него проворством подскокил к муравейнику и начал выгребать оттуда рябчат. Моряк брал беспомощного цыпленка нежно, как хрупкую

елочную игрушку, и своими громадными пальцами отрывал от него муравьев.

— Экая ты зверская букашка! — гудел он беззлобно. — Ребенку в глаз впился, тебе бы эдак, идолу! У цыпушки ведь тоже живая душа.

Жора собрал цыплят в фуражку и, что-то наговаривая, пошел в кусты. Перелетая с сучка на сучок, за ним двинулась мать. Мимо Петрухи Жора прошел с таким видом, будто перед ним был пень.

Когда Жора появился из леса, Петруха с натянутой улыбкой, но как можно небрежней сказал:

— Во, охотник! Птичку пожалел! А сам, говорят, немцу каменюкой башку размовжил и...

Петруха осекся, заметив, как перекосила большое доброе лицо Жоры страшная судорога. Моряк стиснул зубы, двинулся на тщедушного Петруху с таким видом, словно собирался его растоптать:

— Поленницы из мертвых не видел? А я видел! Убил? Не человека я убил! — Жора остановился, закрыл глаза. — Сотни! Нет, тыщи! Без домовин, нагие, в чужой земле... — Моряк тяжело поник, медленно разжал кулаки, посмотрел зачем-то на узловатые руки в садах и мазуте, а затем убрал их за спину и устало закончил: — Уходи! Ровно букашка ты, в глаз впился... кабы худо не вышло...

* * *

Утром следующего дня, получив наряд, Жора взял ручку, обмакнул перо в чернильницу и резко вычеркнул из наряда фамилию Петрухи. Технорук, молча наблюдавший за Жорой, сощурился и спросил:

— Не сработалось, значит?

— Нет.

— Давай сюда наряд.

Технорук, не обдумывая, вписал на место Петрухи другую фамилию и придавал наряд прес-панье так, что у Жоры пропала охота возражать. Он медленно складывал вчетверо наряд, засовывал его в карман комбинезона, а молоденький технорук с облупленным носом как будто ждал чего-то, и тракторист как будто собирался заговорить, но лишь сказал: «Добро» — и ушел, привычно наклонившись в дверях, — они для него были низки!

Возле трактора Жору поджидала Софья Проскурякова — солдатская вдова, мать троих детишек, его новая помощница.

А насчет рябчиных цыплят так в поселке никто ничего и не узнал, да и, прямо сказать, лесорубы особенно не старались узнавать, почему расстроилась дружба у Жоры с Петрухой. Иной раз люди как будто затем и сходятся, чтобы разойтись.

1956



ГЛУХАЯ ПРОСЕКА

Иван Терехов любил ходить на работу просекой. Просека эта похожа на морщинку, ровно черкнувшую по доброму, немного угрюмому лицу тайги. Уныло тянулась просека между тихими елями, пихтами и местами вовсе заглухала, скрывалась в лесу.

Тайга нехотя и снисходительно раздвигалась, высвобождала ей путь, и она текла, текла...

На забытой просеке покой. Следы людей давно затаило мохом в сырых местах, бурьяном и шиповником — в сухих. Кое-где на обочинах просеки стенкой выстроился тонкий рябинник. Осенью просека походила на праздничную улицу. Стаи сварливых дроздов слетались сюда на кормежку, а на утренней зорьке из ельника выпархивали юркие рябчики. Жил здесь и старый бородатый глухарь. Он срывался почти из-под самых ног с таким шумом, что у Ивана сбивалось дыхание и он, вздрогнув, останавливался.

Когда Иван подружился с Галиной, они стали ходить по просеке вместе. Однако лесная щель скоро надоела девушке, и она потянула Ивана на растерзанную, но многолюдную дорогу. Иван долго упирался, пробовал ходить по просеке снова один, но одному уже было скучно, да и зима подошла — завалило просеку рыхлым снегом. На пучках мерзлых ягод пристроились белые комочки, одавили гибкие ветви рябин. Густо завесилась просека белыми фонариками, под которыми ярко горела мерзлая ягода — рябина.

Старого глухаря Иван все-таки подкараулил, застрелил, и делать здесь стало вовсе нечего.

Утро. Иван ждет Галину. Она в избу заходить стесняется и робко стучит в кухонное окно. Мать, не поворачивая головы, басит:

— Шмара твоя ломится. Не слышишь, что ли?

Иван слышит не только стук, но даже скрип валенок, приближающийся к дому. Парень суетится. Хочется ему проворно выскочить на улицу, но в кухонных дверях стоит широкобедрая мать с ухмылкой. Эта ухмылка, взгляд суровых глаз закаленного в кухонных битвах бойца как бы говорят: «И это есть Терехов? Мой сын? Тряпка!» Под взглядом матери внутри Ивана все леденеет, движения его становятся угловатыми, деревянными. На крыльцо он выходит не спеша, вразвалку, с хмурым и чуть надменным выражением на лице. Мать одобрительно щурит левый глаз, и усатая верхняя губа ее начинает сдвигаться вбок, меняя ухмылку на торжествующую улыбку.

На улице Иван перевел дух и, приветливо улыбнувшись светловолосой, худенькой девушке, сунул ей бутылку с молоком и небольшой сверток с хлебом. Галина осторожно опустила бутылку в сетку и хотела уже завязать ее, но парень подал еще один сверток. В темной тряпиче, сквозь которую проступили рыжие пятна, было что-то тяжелое.

— Прихватил это самое... тоже еда... — ответил на ее вопросительный взгляд Иван и поспешно перевел разговор на другую тему. Хотел он взять девушку под руку, да оглянулся на окна своей избы и торопливо пошел немного впереди Галины.

Сразу от крайнего дома начинался лес. Собственно, то, что росло вокруг поселка, уже нельзя было назвать лесом. Остались редкие, чудом уцелевшие деревья. Возле крыльца крайнего дома распустила махровые от мороза ветви старая береза. На ее вершине вертелась и стрекотала сорока. Где-то раздраженно требовала к себе внимания коза... Над поселком стояли длинные, почти неподвижные дымки.

На лесосеке механик разогревал электростанцию. Она уросливо, с перерывами, ревела, тревожа сонный лес треском и громкими хлопками.

— Жениху и невесте! — крикнул механик и приветственно помахал рваной варежкой. Галина опустила глаза, залилась краской, а спутник ее чуть усмехнулся, легко бросил приготовленную электропилу на плечо и зашагал

по глубокому снегу в лес. За ним черным ужом бежал и извивался гладкий кабель.

— Покури, Иван, куда торопишься? — снова крикнул механик, перекрывая шум. — До начала смены еще полчаса.

— Надо на приданое зарабатывать, — не оглядываясь, громко бросил Терехов и с улыбкой посмотрел на Галину.

Девушка не ответила на его улыбку. Ее задумчивые зеленоватые глаза прикрылись закуржавшими ресницами.

— Да ты не стесняйся, дурека. Привыкнуть уж пора, — грубовато сказал Иван и прижал свободной рукой голову девушки к себе. Он поцеловал ее в раздурманившиеся щеки, а потом в полураскрытые холодные губы.

Галина осторожно высвободилась из его крепких рук и смущенно проговорила:

— Нашел место! — Она затянула потуже пестренький платок вокруг шеи, повесила сетку с провизией на сучок и тихо обронила: — Давай работать, раз уж пришли.

— Ты чего сегодня? — поинтересовался Иван.

Девушка не отозвалась. Она утоптала снег вокруг небольшой ели, подставила вилку. В тихое утро вонзился острый визг пилы. Ель чуть заметно качнулась и, ломая ветви на других деревьях, рухнула в снег. Еще не осело снежное облако вокруг, еще не успокоились потревоженные шумом снычки, дремавшие в лапках пихтача, а рядом с поваленным деревом уже легло другое. Иван работал уверенно, ловко. Рукавицы у него заткнуты за пояс, шапка сдвинута на затылок, телогрейка настежь.

Галина исподтишка любовалась им. Нравился ей вот такой Иван, чубатый, хваткий в деле. Но она не считала себя его невестой. Слишком мало знали они друг друга. И тем не менее людская молва сделала свое дело. Любители даровой выпивки уже напрашивались на свадьбу. Иван сначала отшучивался, а потом как-то незаметно вошел в роль жениха. Несколько раз Галина пыталась поговорить с ним, сделать так, чтобы унялись разговоры, но Иван, не дослушав ее, начиная посмеиваться. Станный он, этот Иван. На работе один, в клубе — другой, дома — третий. Никак не может Галина попристальней разглядеть этих трех Иванов, ускользают они от ее ненаметанного глаза. А дни идут, валяются, как деревья под палой

Ивана, и исчезают, оставляя лишь какие-то клочки воспоминаний, то мягкие и ласковые, как пихтовые ветки, то острые и хрупкие, как нижние сучки старых елей. Такая ли она, любовь?

Галина тряхнула головой, заслышав голоса.

Мимо них тянул кабель электропилищик Закир Хабибуллин. Он приветствовал Ивана и Галину широкой, дружеской улыбкой. Галина помахала ему вслед, а Иван сделал вид будто не заметил электропилищика. Лишь минут через десять нехотя спросил:

— Ну, как там дела у передовика?

— Вчера ты сравнялся с ним.

— Вот видишь! — обрадовался Иван. — Я ж тебе говорил.

— У Закира плохая цепь, — заметила Галина, — иначе тебе не догнать бы его.

— Э-э, брось! — махнул рукой Иван. — При чем тут цепь? Пороху у него мало, вот что я скажу. Погоди, товарищ помогайло, мы его еще обставим! — добавил Иван и хлопнул Галину по плечу.

Осенью на лесоучасток приехала большая группа рабочих, среди которых был и старый, опытный лесозаготовитель Закир. Он скоро обогнал передового электропилищика Ивана Терехова. Иван потемнел, замкнулся, на время затих его громкий окаяющий говор.

Долго пришлось биться Ивану, немало пролить поту и попортить крови, пока он догнал Закира. А теперь он обгонит его, непременно обгонит. Докажет этой русалке в ватных брюках, на что он годен, и матери докажет. Мать насмеяется каждый день, говорит, мол, на запятках у «татарвы» сын лесоруба Терехова стал ходить. А покойный Терехов гремел по всей округе, в мастера вышел, орден получил.

Все яростней звенела в руках Ивана электропила. Работал он без перекуров, стиснув зубы. Когда Галина ненадолго отлучилась, он свалил несколько деревьев друг на друга, комлями в разные стороны.

— Приемщик ведь может забраковать, — несмело заметила Галина.

— Ладно, помалкивай, — сморщился Иван.

Галина обиженно смолкла. Иван между делом косил на нее черные глаза.

— Ну, чего скисла? — примирительно спросил он. — Устала? Отдохни.

— Не устала я, — тихо произнесла Галина и, помолчав, добавила: — Переменчивый ты какой-то, Ваня, непонятный...

— Вот, опять за рыбу деньги! — с досадой хмыкнул Иван и, потрепав ее по голове, рассмеялся: — Трудно тебе, Галька, будет с моей матерью.

— А я и... — начала Галина, но в это время оборвался голос пилы на соседней делянке, точно лопнула струна на высокой ноте.

— Закир кончался! — подпрыгнул Иван и, не дослушав девушку, загоготал: — Пор-рядок! — Он хлопнул рукавицами о пенек, сбросил телогрейку и остался в одном свитере. Пила затрепетала в его руках.

Вскоре, проваливаясь в снег, появился низенький, узколицый Закир. В руке он нес порванную цепь.

— Вот, — показал он обрывки цепи Ивану, — пропал сэп, бригада сидит, участок план не даст, получка маленький будет. — И, помолчав, сокрушенно вздохнул: — Берег, берег сэп... Лопнула... Старая...

Галина пристально глядела на Ивана. А он, пряча от нее глаза, перебирал в руках цепь Закира, как монашеские четки, и сочувственно качал головой:

• — Да-а, Закирка, позагораешь ты теперь: цепей-то на складе нету. На, закури с горя.

Закир взял папироску, размял ее, наладился было прикурить от папиросы Ивана, но быстро взглянул на него и заговорил, глядя парня по рукаву:

— Иван, тибя ведь есть сэп. Мастер говорил, много сэп был, старый пыльщики тащили! Бригада сидит...

— Да ты что!? — придавая лицу грозное выражение, отодвинулся от Закира Иван. Галина не спускала с него глаз. Лицо ее посуровело и как будто осунулось, а широкие глаза, в которые смотреть иной раз жутко, сделались холодными. Иван смешался, но тут же справился с собой и скучным голосом закончил, отворачиваясь от Закира:

— Кто стащил, к тем и топай, а мне нахаловку не пришивай...

Закир отдернул руку от Ивана, сокрушенно зачмокал губами. И тогда Галина, не говоря ни слова, подошла к дереву, сняла с сучка сетку, вытащила сверток в темной тряпице и подала его старому электропильщику:

— Ступай работай, Закир.

Хабибуллин развернул тряпку и возликовал:

— Сэп! Ай, спасибо, девушка, бригадой спасибо.

Он пошел от них, но повернулся. Его морщинистое лицо было строго. Тронув Галину за плечо, Закир с расстановкой, веско произнес, показывая на Ивана:

— Жалей своя жизнь, девушка.

И побрел прочь...

Иван крушил руками сухую ветку, а Галина утапывала снег под густой пихтой. Вот уже валенки коснулись ребристых корней, между которыми желтела осенняя трава, а она все так же механически перебирала ногами.

— Довольно танцевать! Клуб для этого есть! — до неся до Галины окрик Ивана. Она вздрогнула. Он отстранил ее, сам подставил вилку под дерево и, включив пилу, ожег девушку злым взглядом: — В добрые попала!

Галина попятилась от него — и ухнула в снег почти по пояс. Иван выключил пилу и протянул ей руку. Галина отстранила руку, выбралась из снега сама. До вечера работали в напряженном молчании, а по дороге в поселок Галина предложила:

— Давай отложим свадьбу.

— Ты в уме? — уставился на нее Иван. — Все знают, что в Новый год наша свадьба, мама семь ведер браги поставила...

— В вашем доме брага не пропадет.

— Жмотами считаешь?.. — начал Иван, думая, что она торопливо начнет отрицать это. Но девушка молчала, и тогда Иван взорвался: — И чего из себя изображаешь? А тут еще татарва эта...

— Не обзывай человека! — строго оборвала его Галина и с укоризной добавила: — Ты ведь меня даже не спросил, а уже брагу заказал.

Иван поник. Из последних сил он старался убрать с лица жалкую улыбку.

— Я думал, ты без всяких яких. — И тут же его голос взвился до фальцета: — Да кто ты такая? Чего ты ломаешься, как копеешный пряник? Да за меня любая, стоит только глазом мигнуть. Мы — Тереховы!

— Не знаю. Не знаю. Может быть, — медленно молвила девушка и, подумав, закончила: — Есть, конечно, люди, которые меряют жизнь и твоей меркой...

Они опять надолго замолчали. Иван жевал незажженную папироску. Возле тереховского дома Галина скороговоркой бросила: «Всего доброго» — и прибавила шагу, направляясь к общежитию.

Иван протянул было руку, хотел остановить тоненькую даже в телогрейке девушку, которая, как русалка, без колебаний заходила в студеную, предвечернюю синеву, будто в призрачное море, переливающееся гасучими снежными звездочками.

Но во дворе мать звякнула подойником, и парень побрел домой.



КОРШУН

Отыскав удобное место на обрывистом берегу, я расположился под толстым осокорем, подмытым течением, и достал из рюкзака еду. Вода прибывала. Охота была закончена. Я решил немного передохнуть — и домой. Могучий осокорь мелко дрожал, и солнечные блики метались по его стволу, путались в набухших ветках. Птичий гомон неся из травы, с осокоря, с неба. Им было переполнено все вокруг.

И вдруг это веселое разноголосье разом угасло. Трясогузка с черной ермолкой на голове вспорхнула с нижнего сука осокоря и затаилась в мокром тальнике. С острова медленно поднимался коршун. Он неторопливо, с хозяйской степенностью закружился над рекой, подобрав когтистые лапы. Я попытался поймать его на мушку, но хищник, почувствовав ружье, свалился на левое крыло, пошел было вниз, а потом стремительно взмыл над островом, мелькнул на солнце грязным пятном и постепенно растворился в синеватой дымке за горой.

Я бросил нарядного чирка под дерево и, привалившись к осокорю, задремал.

— Э-э, мил человек, приехали! — услышал я голос и встряхнулся. Вода поднялась еще выше и с шипением кружилась возле моих ног. Я отодвинулся и повернулся к человеку, который с насмешкой поглядывал на меня.

— Спать надо у места, — с укором сказал он. Затем, нагнувшись, снял с плеча мокрый мешок, взвесил на ладони моего чирка и прибавил: — Фунт, не боле.

Он пренебрежительно отбросил чирка, вытер о голенище кирзового сапога ладонь и спросил:

— Папироска найдется?

Аппетитно затянувшись дымком, незнакомец, как бы оправдываясь, заговорил:

— Курево-то у меня есть, самосад, через колено ломаный. Надоел. — Он вздохнул, сокрушенно почмокал губами и протянул:

— Н-нда-а, живем — не люди и помрем — не покойники. Вы вот папирочки пкуриваете, с ружьишком развлекаетесь — все сорок удовольствий... Я это не в укор лично вам. Я это себе в укор, потому как своевременно не сообразил, где будет жизнь настоящая. Рассуждал так, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним женихом в городе, и вот...

Одет он был бедно. Телогрейка в заплатках, штаны — тоже. Старый суконный картуз прожжен на затылке, и в дыру, сливаясь с подпалиной, высовывался клочок рыжих волос. Только сапоги новые. К этому наряду очень не шло обличье незнакомца. Он плотный, коренастый, с красным, немного лоснящимся лицом. На лице этом нет ничего выдающегося — все под один цвет. Лишь глаза несколько выделялись: маленькие, выпуклые, они напоминали пятнышки плесени на сдобном, но залежавшемся каравае. Странное свойство имели эти глаза. Когда они смотрели на меня, в них было что-то простодушное, но, как только глаза эти начинали глядеть в сторону, в них сразу появлялась настороженность, они темнели, на лице появлялось выражение сомнительности.

Пока я разглядывал собеседника, в мешке его что-то зашлепало, и он, торопливо вскочив, сел на мешок. «Уж не рыба ли?» — подумал я, вспомнив, что почти во всех протоках и ручьях входы перегорожены и поставлены морды. Сейчас рыба нерестится, в заливы на траву валом валит.

Мужичок назвался Сергеем Поликарповичем Ковырзиным. Я сказал, что фамилия его мне знакома. Он изумился, но, когда узнал, что я работаю в газете, удивление его сменилось радостью.

— Мать моя! На ловца зверь! Да мне дозарезу надо поговорить с представителем печати, а в город вырваться не могу, горячая пора наступила.

Последние слова он сказал как-то двусмысленно, и мне снова подумалось, что у него в мешке — рыба. Предупреждая мое замечание, что в горячую пору надо быть в поле, Ковырзин заявил, взваливая мешок на плечо:

— Я минюм трудней еще зимой выработал. Пошли, что ли? — И, больше не оборачиваясь, он зашагал к деревне, расположившейся на склоне горы. Я постоял в нерешительности и двинулся за Ковырзиным. Очень заинтересовал меня этот человек. А молодому газетчику, как известно, противиться любопытству трудно.

Заслышав мои шаги, Ковырзин сбавил ходу и, как бы продолжая начатый разговор, заторопился:

— Про такое дело я вам, мил человек, поведаю, что зубы заноят. Статью либо филлетон напишете. Будет вам приятное с полезным. Чирок по суху не любит плавать! — Он подмигнул мне и деликатно рассмеялся.

Изда Ковырзина, обнесенная почерневшим от времени забором из половинника, стояла на самом пригорке. Из подворотни навстречу нам выкатилась лохматая дворняжка. Вместо того, чтобы залаять, она принялась истоиво лебезить перед хозяином, будто век его не видала.

Во дворе строгий порядок — прибрано, подметено. Охорашиваясь, разгуливали по двору куры. У забора в тени благодушно похрюкивал поросенок.

В доме тоже приятная чистота. Пахло свежеепеченым хлебом и чуть-чуть доносило угаром из русской печи. От всего этого дохнуло чем-то далеким, полузабытым. Но предаться сладостным воспоминаниям мне помешала хозяйка. Она попросила меня «пожаловать в комнату». Хозяйка была сухая, сморщенная, и я сначала принял ее за мать Ковырзина. Я начал отказываться, ссылаясь на грязную обувь, но хозяйка повторила свою просьбу с робкой настойчивостью.

Хозяйка о чем-то вполголоса переговаривались в кухне. До меня донесли лишь последние слова хозяина:

— Да пошевеливайся, кляча!..

Я огляделся. Первое, что бросилось в глаза, — это газеты. На столе — несколько номеров центральных, областных и нашей городской. Я подумал, что хозяин приобрел их где-то оптом на раскур, но на угловике, рядом с патефоном, лежали старые, аккуратно сделанные подшивки. Кое-где на газетах виднелись отметки красным карандашом.

Горница была убрана на городской манер: полочка с книгами, большое зеркало с трещинкой, как паутинка, флаконы из-под духов, несколько репродукций с хороших картин, кровать с горой пышных подушек.

Над кроватью висели три портрета. Какой-то угодливый фотоделега так старательно сглаживал несправедливости природы, что на портретах я с трудом узнал облик хозяев. Сергей Поликарпович выглядел поджарым молодцом, и толстая его шея, видимо, не удостоенная внимания ретушера как маловажная деталь, оказалась шири лица. Значительно «улучшена» была и хозяйка. Не удалось «мастеру» лишь заретушировать какое-то горестное оцепенение и затравленность в глазах ее. С третьего портрета подозрительно смотрела на свет белый дородная деваха с крупными бусами на бугристой груди.

— Октябрина — дочка моя, — пояснил незаметно появившийся хозяин. — На следователя учится. Я пустил ее по этой линии, потому как нет для человека благородней дела, чем следить за порядком на земле.

Закурив предложенную мной папиросу, он прошелся по комнате с заложенными за спину руками и закончил:

— Пишет теперь письма, а сначала уросила.

— Отчего же?

— Известно, дело молодое, неразумность, не в укор вам будь сказано. Круто я распорядился, вот с того и началось. — Он присел на стул и помотал головой: — Ой-ой, мокра было! — Помолчав, Ковырзин доверительно сообщил: — Давиться хотела. Ага, давиться. Да меня, брат, спектаклем не проймешь, не-ет. Замуж засобиралась за здешнего одного. Ну, какой замуж, ежели человек еще не на своей линии, ежели он сделал неравноценный выбор? Я так полагаю — неразумность эта от излишнего бушевания крови. Вот выучится, найдет себе образованную пару и еще меня благодарить будет...

Появилась хозяйка с кринкой. Ковырзин смолк, нетерпеливо пережидая, когда хозяйка нальет молока и уберется. Я начал отказываться, но хозяин сам пододвинул мне стакан:

— Не брезгуйте, пейте, самуё-то я по всем правилам санитарным заставляю обращаться с продукцией, руки мыть перед дойкой. Лукерья! А ну покаж гостю руки! — крикнул он.

Из кухни слышались торопливые шаги. Я схватился за стакан, и Ковырзин кивнул хозяйке:

— Иди, не требуется.

Пока я пил холодное молоко, Ковырзин повествовал мне о колхозных делах. Нового он почти ничего не ска-

зал. Дела в колхозе были не блестящи — это я знал. Нескольких фактов о махинациях колхозного кладовщика Ковырзин заставил-таки меня записать в блокнот, и пока я этого не сделал, он не успокоился.

— Вы его в филлетончике, в филлетончике протяните, — подсказывал он. — За факты ручаюсь, никакой подтасовки. Я сам селькор с тысяча девятьсот тридцатого года...

Я допил молоко и, положив три рубля на стол, начал собираться. Хозяин засуетился:

— Вам ведь сдачу надо? — Он пошарил по карманам, сокрушенно пожал плечами: — Вот грех-то! Лукерья! Нет ли у тебя денег на сдачу? — Он сбегал на кухню и мгновенно вернулся, разведя руками: — Нету. Живем — не люди и помрем — не покойники. Ну, надеюсь, не в последний раз видимся, заходите, разотчемся...

* * *

Ковырзин как в воду глядел, когда говорил, что мы видимся не в последний раз. Зимой пришло в редакцию письмо от него. Подробно, со ссылкой на разные законы и постановления, он изобличал нового председателя колхоза. Были факты, главный из них, на который делался упор, довольно серьезный. «Новый председатель колхоза товарищ Замухин, еще не обжившись в колхозе, показал свой интеллигентский нрав и при распределении аванса на трудодни взял себе центнер пшеницы, тогда как все остальные труженики нашей артели авансировались рожью».

Есть над чем подумать!

С одной стороны — письмо в редакцию, а с другой — Павел Замухин, тот самый Паша, который скрывал на фронте обнаружившуюся желудочную болезнь, чтобы его не отослали в тыл. Тот самый Паша, с которым мне довелось тянуть телефонную линию через Днепр, а потом мерзнуть и голодовать на плацдарме. Собственно, нашему брату голод был не так страшен. Мы резали куски от убитого коня, варили их в укромном местечке и жевали без соли. И рыбой глушеной не брезговали, ее там полно было. Помнится, не выдержав, больной Паша поел конины и потом корчился в грязной щели, кусая до крови губы.

Меня на этом плацдарме ранило, а Паша умудрился дотянуть свою линию до Берлина.

Летом я его встретил на вокзале в областном городе. В числе других добровольцев он ехал в наш район работать председателем колхоза. Паша торопился, и поговорить нам не удалось. Мы только условились как-нибудь встретиться в колхозе.

И вот встреча наша должна состояться.

Пожалуй, надо пойти к редактору и отказаться от поездки в колхоз. Не с жалобой же в кармане должны встретиться друзья-фронтовики! Но я уже успел немножко изучить нашего редактора. Узнав о моей старой дружбе с Замухиным, он непременно пошлет меня с этим письмом, чтобы проверить «качество» молодого газетчика на таком щекотливом деле...

Павел встретил меня просто. Лишь долго не выпускал он мою руку из своей и все тянул куда-то; пытаюсь усадить меня рядом с собой на один стул. Он забрасывал меня вопросами, не дожидаясь ответа, рассказывал сам. Потом спохватился:

— Ты чего помалкиваешь? Я болтаю, болтаю...

— Я ведь к тебе по делу, Павел.

— К дьяволу дела! — сказал он и сунул какие-то бумаги в стол. — У меня ведь, братуха, сегодня сплошные радости: семья приехала, ты нагрянул! Пойдем мы сейчас пообедаем и даже выпьем по такому случаю. Ты чего глаза вытаращил? А-а, старую историю вспомнил, насчет моего желудка беспокоишься? Курсак, братуха, теперь в порядке. Один профессор все мои язвы аннулировал. Так что теперь не рассчитывай на две порции! — Павел рассмеялся: — А много же ты за меня водки выпил, ой, много! Посчитай: весь сорок второй да по октябрь сорок третьего. Да ладно уж, не буду взыскивать, пользуйся моей добротой...

Павел балагурил, смеялся. Я старался отвечать на его искреннюю радость, как умел, но ничего у меня не получалось. Обедать с Павлом я отказался.

— Почему? — удивился Павел.

Я сказал ему прямо обо всем, сохранив, как полагается, фамилию автора письма в тайне.

Павел сидел несколько минут, растерянно глядя на меня. Радостное выражение исчезло с его лица, у губ легли складки обиды, брови насупились, и он сделался

еще бледней. Неожиданно он вскочил и грохнул по столу. Мелкой рыбешкой брызнули в разные стороны карандаши, ручки, скрепки.

— Серега! Кр-ровосос! Его работа! — закричал Павел и, схватившись по старой привычке за переносицу, опустился на место. — Сил больше нет, братуха! Убью я его! Честное слово, угроблю! На душу грех возьму! Пусть судят!

Вот как может измениться человек! Где тот мягкосердечный, спокойный Павел Замухин, которого я знал прежде?

— Ведь он двух председателей отсюда выжил, — жаловался мне Павел, — семерых кладовщиков — итого, девять! Ты понял, девятерых живьем съел? Теперь меня доедает, за каждым шагом следит, гнида! Ну, подметил бы какую ошибку, пришел бы, так нет, он чик-чирик жалобишку. Вот они, полюбуйся. Это мне начальству ответ давать... — Павел выбросил из стола ворох бумаг с сопроводительными бланками. — От такой работы меня скоро родимчик хватит! — Павел надел шапку, снял полшубок с вешалки и, придавив подбородком шарф, с усталой раздраженностью закончил: — И сунуло меня выписать эту пшеницу!

— Ты действительно?..

Павел, уже одетый, встал возле стола, забарабанил пальцами по стеклу.

— Да, братуха. Понимаешь, нельзя мне было после операции черный хлеб есть. Я сначала все в город заказывал, а потом с деньгами заминка вышла, семью перевозить надо было, ну, правленцы знают о моей хворобе, уговорили, постановили. Раздобрались они на радостях. Первый раз за последние годы хороший урожай взяли. И я тоже уши развесил. Теперь мне этот центнер пшеницы, что бревно в глазу. Опять же, не согласись я взять эту несчастную пшеницу, он меня на другом деле подси-дел бы. Так обедать не пойдешь? Правильно делаешь. А то и на тебя жалобу нагвоздит.

* * *

Лишь к вечеру я закончил обход изб. Время я потратил почти без пользы. Колхозники встречали меня приветливо, но, как только заходила речь о Ковырзине, они

отвечали на вопросы неохотно, а то и вовсе отмалчивались.

— Да что, на самом деле, боитесь Ковырзина, что ли? — не выдержав, спросил я у доярки на молочной ферме.

Доярки долго переминались, глядели мимо меня. Наконец пожилая женщина в шахтерских калошах поднялась и, развязывая тесемки халата, призналась:

— Боимся, скрывать нечего. Почитай, все мы не одинаво бывали в суде свидетелями или ответчиками, а без суда сколько лиха перетерпели от него, супостата! Ты слушаешь нас да и отбудешь, а он вынюхает, что мы тебе жалобились. — Доярка повесила халат на деревянный крюк и под села к столу, где женщина-бригадир заполняла табель и внимательно прислушивалась к нашему разговору. — Он ведь, Серега-то, себе на уме, — продолжала разговор пожилая доярка. — Молчит до поры до времени, а потом ушибет, да так, что и свету не взвидишь. Вот со мной был случай. Приехал ко мне сын из армии в кратковременный отпуск. Пальнул из орудья на ученьях как следует, и ему, стало быть, отпуску десять дней вышло — как награждение. А дома-то прихворнул от переутомленья сил. Гулянки, девчата, то, се. Ну я к фершалу. Христом-богом вымолила у него справку. — Доярка рассмеялась, и все вокруг тоже заулыбались. — Словом, «поправили» и отправили артиллериста. Да вот возьми и отчисти я Серегу на собрании. И закрутилась машина: Серега в часть письмо насчет того, что сын мой болел из-за чрезмерного распития. В райздрав жалобу. Ну, фершалу выговор, сына на губахту...

В разговор втянулись и другие доярки. Сначала они все оглядывались на двери и углы, точно боялись, что там кто-то сидит и подслушивает, а потом перестали остерегаться.

И услышал я много любопытного. Все чаще и чаще в разговорах мелькало слово «колдун». Оказывается, за Ковырзиным давно укоренилось это прозвище, и он его, как я понял, не опровергал. По деревне шли слухи о том, что Серега может посадить килу, сглазить малолетнего ребенка, скотину или жениха от невесты отвадить. Намажет скобу в доме невесты каким-то зельем — и баста, жених к другой переметнется. У Сереги и отец колдун был. Еще в давние времена Серегин отец одну свадьбу

испортил. Положил на дорогу метлу, плюнул три раза, шепнул что-то, и готово дело — доехал свадебный поезд до метлы, пляшут кони, а с места ни шагу!

— Это из-за того, что приглашением обошли, — пояснила все та же словоохотливая женщина.

Молодые доярки взвизгивали от смеха, слушая эту небывальщину, и начисто отрицали колдовство.

Завязался спор. В конце концов все пришли к выводу, что Серегу надо бы прогнать из колхоза. А как это сделать? Минимум трудодней Серега вырабатывает. Осенью на рынке в артельном ларьке овощами торгует, а то инструменты кузнечные в пользование даст, чтобы ему соточки вписали. Пробовали не брать у него инструмент, так он на птичник к Лукерье прилачился. Спит там, похрапывает, а Лукерья работает и записывает на двоих трудодни. Так вот он и наскребает минимум. Благо минимум этот одинаков для такого битюга, как Серега, и для старухи.

Конечно, Серега не всегда вредничал. Был в колхозе председатель Куркин, снюхался с Ковырзиным, поставил его кладовщиком — и притих Серега. Да Куркину-то по шапке дали и Сереге тоже. Даже из колхоза его турнули. Но Серега обжаловал постановление общего собрания перед районным начальством. Оттуда бумага с печатями пришла: «Нет основания исключать товарища Ковырзина».

После того еще больше озлобился на односельчан Серега. Если, к примеру, его сейчас снова кладовщиком поставить или депутатом в поссовет выбрать, он успокоится. Очень охота быть Сереге депутатом, чтобы на интеллигента походить, острость высказываться любит. Сыплет, как по газете, заслушаешься. В конце каждой речи Серега зычно гаркает: «Мир и пролетарьят восторжествуют во всем мире!»

Но депутатом Серегу все равно не выбирают...

* * *

На заседании правления, где решались важные артельные вопросы, Ковырзина тоже не обошли разговором. Он был словно чирей на холке, на которую, как ни остерегайся, все равно сядешь.

Один правленец разгорячился и заявил:

— Отлуплю я его под пьяную руку! Честное слово! Ведь жилы из всех вытянул!

— Ну и попадешь в тюрьму, — сказал пожилой колхозник.

Утром я встретился с Ковырзиным в том самом доме, куда меня уже не манило после первого разговора с хозяином. Но служба есть служба!

Ковырзин приветствовал меня с подчеркнутой строгостью и вежливостью. Теперь я был для него не случайный встречный, а человек, уполномоченный проверять жалобы. Я попросил Ковырзина показать мне ответы на его жалобы.

— Все? — поинтересовался он.

— Давайте все.

Он подал мне объемистую папку с бумагами. Чего тут только не было: вежливые ответы на солидных бланках из Верховного Совета лежали сверху, а под ними — странные ответы обкомовских и райкомовских комиссий. Еще ниже — торопливые и не всегда ясные ответы из газет. Дальше — бумаги из прокуратуры, судов, сельсоветов.

Заглядывая через мое плечо, обладатель этих «сокровищ» бросал короткие комментарии:

— Это с Москвы! Это из области насчет председателя Анкудинова. Знали его? Спекся милый. Подловил я его на одном дельце. А это вот, — голос Ковырзина как-то сладко задрожал, и он даже перестал сопеть мне в ухо, — это письмо самим всесоюзным старостой, покойничком Михайлой Ивановичем подписано.

Даже опытному газетчику трудно говорить с такими людьми, как Ковырзин, а мне оказалось это вовсе не по силам. Я сорвался на первых словах:

— Это же черт знает что! — тряхнул я бумагами: — Это ж... Вы ж людям жизнь отравляете! Работать надо, а не писать!..

Ковырзин властно высвободил из моей руки бумаги, разгладил их ладонью и, завязывая папку, спокойно заявил:

— Молодыг учить меня. Молоды! А писать я имею право по Конституции страны социализма, потому как должен кто-то следить за порядком. Неужто вам с Замахным это дело доверить, а? — Он хитровато и многозначительно прищурился: — Вот, к примеру, насчет пше-

ницы. Равноправье? Равноправье! Так почему я, честный труженик сельского хозяйства, организатор Советской власти, активист коллективизации, селькор с тридцатого года, должен жрать аржанину, а какой-то выскочка из интеллигентов — беленький хлебец? Что записано в Конституции, нашем золотом законе?..

— Слушай, — потеряв всякое терпение, оборвал я ораторствующего собеседника. — Да понимаешь ли ты, что такое наша Конституция? — Я сделал ударение на слове «наша», но Ковырзин не уловил моей иронии. — Не будь этой Конституции, так односельчане давно бы тебя распрошили.

Ковырзин ошарашенно уставился на меня:

— Да ты что, запугивать?! Ты кто, представитель советской печати или кто?! А-а, вон что! Председатель-то твой старинный дружок. Так, так, так! Я вас еще колупну, колупну-у. Честного труженика, организатора Советской власти под ноготь... Я-а вас...

* * *

Совсем недавно я встретил Ковырзина еще раз в несколько необычном месте.

Моясь в городской бане, я заметил, как из парилки, точно ошпаренные, выскакивали люди. Они плевались, кого-то нещадно кляли. Я спросил у парня с татуировкой на груди:

— Чего шумим?

— Да залез какой-то толстомясый на полок и газует пар, дышать нечем. Всех выжил, один парится.

Я уже одевался, когда из парилки появился человек. Весь он был облеплен темными листьями и не совсем ладно прикрывался исхлестанным веником. С трудом достигнув скамейки, он плюхнулся на нее.

Это был Ковырзин.

— Дошел! — покачал головой парень с наколкой на груди. — Вот она, жадность-то...

Глаза Ковырзина были закрыты, грудь тяжело вздымалась. Казалось, он уже заснул. Но спустя несколько секунд он подал слабый голос:

— Вот ты, мил человек, шумишь, а почему шумишь? Я, может, имею законное право попариться всласть раз в год!..

— Не городи ерунду! — слышались отовсюду голоса.

— Как это ерунду? — рассердился Ковырзин и даже попытался приподняться на скамейке, но руки его подломились, и он опять сник. — Чтобы нашу баню истопить, надо кубометру дров спалить, да ведер пятнадцать из-под угору воды принести, да вовремя skutать баню, да плескать на каменку. И все это делать старухе. А старуха-то одна и хлипкая сделалась, плеснет разок и лежит на пороге, голову наружу. Раньше на каменку дочка сдвала, а потом из возраста вышла, нынче здесь робит следователем. Я вот в гости к ней приеду — и в баньку. Благодать! За полтора целковых хлещись, сколь душа желает, и воды без нормы...

На следующий день я позвонил в колхоз и услышал лякующий голос Павла:

— Выгнали, выгнали мы Серегу!

— Каким образом?

— А самым обыкновенным. Только получил народ газеты с постановлением насчет Устава артели и сразу ко мне. «Собирай собрание, будем гнать одиночников из колхоза. Первого Серегу выдавим, как чирей!» Я говорю: «Дорогие товарищи, больно вы уж круто, потолковать бы еще с ним». — «Никаких толкований — гнать!» Ну и всё: «спекся, мил человек».

Вон оно что! То-то я заметил, что за последнее время тематика писем Ковырзина заметно расширилась. Он все чаще и чаще пишет на городские темы, не оставляя пока в покое и деревенских. Три разоблачительных заметки он написал о завхозе «Горпищекомбината».

Утратил Ковырзин надежду выбиться «в люди» в деревне, пробует это сделать в городе.



В СТРАДНУЮ ПОРУ

Машины, надсадно завывая, вползли на гору. Открылись колхозные поля, упирающиеся с одной стороны в желтый лес, с другой — подступившие к реке.

За машинами потянулись серые хвосты пыли. Николаю и Зине повезло — они попали на переднюю машину вместе с большой группой работников горкомхоза и от пыли не страдали. Зато идущей следом машины почти не было видно. Оттуда доносилась, сбиваемая на ухабах, песня.

На передней машине тоже подхватили песню. Николай совсем близко услышал голос Зины, но сам он не пел, а, вытянув шею, жадно глядел через головы людей вперед.

Вдали показалась деревня, растянувшаяся вдоль реки. За деревней широкий лог. Он подковой огибает избы с сараями, банями и огородами на задворках. В половодье по этому логу заходит вода. Сюда плывут нереститься щуки. Они трутся до крови о прошлогоднюю траву животами, выдавливают икру. Потом вода уходит. Остается небольшое озерко, полное шальной рыбьей мелкоты. Вода в озерке согревается, ее затягивает ряской. Постепенно озерко засыпает под густой зеленью. Подростшие шурята с носами, похожими на долото, гоняют здесь чудом уцелевших рыбешек. Неумимо носятся по воде сторожкие коньки с паучьими ножками.

В эту пору ребяташки оставляют озерко. Они боятся какого-то страшного волоса. По старым поверьям, он «ежели в тело вопьется да до сердца дойдет, тогда непоборимая смерть человеку».

Лодки, удочки, купанье в жаркие и нежаркие дни, штаны и рубахи, порванные на частоколах чужих огородов, — вот оно потрясающе драгоценное и далеко-далекое время, которое с такой сладкой грустью сейчас заново переживает Николай.

— Моя, Сычевка! — показывает он Зине.

— Как ты сказал?

— Сычевка. Ну, от слова «сыч». Птица такая есть. А во-он видишь, здание, кирпичное, ну да ближе церковки. Это управление МТС, где я работал. А в церкви-то мастерские. — Он помолчал немного и задумчиво прибавил так, что Зина его почти не расслышала:

— Стосковался.

Она удивленно пожала плечами и крикнула:

— Глухота! Недаром отсюда люди бегут!..

До деревни они не доехали. На дороге их встретил человек, поднял руку, затем стянул с головы фуражку и замахал перед собой кругами, как подают на железной дороге сигнал остановки.

По этому сигналу Николай сразу узнал эмтээсовского бригадира Пасынкова. Тот когда-то служил стрелочником на станции.

— Слезай! Приехали! — послышался шепелявый голос Пасынкова. Николай легко соскочил с борта машины и, очутившись перед Пасынковым, подал ему руку:

— Здорово, кум Гаврила!

От неожиданности или такого необычного приветствия, которым Николай хотел замаскировать свою неловкость, Пасынков немного растерялся, удивленно поморгал и протянул:

— Хо-о, кого я вижу! С какого кладбища?

— Запарились вы тут, — ухмыльнулся Николай, — вот и решил вместе со всеми нашими на прорыв.

— Ну-ну, поупражняйся. С городских харчей полезно поразмяться, — сказал Пасынков и, обращаясь к столпившимся у машин горожанам, добавил: — Стало быть, товарищи, у кого лопаты есть, прямо от дороги и начинайте. А человек восемь-десять пусть со мной идут за картофелекопалкой картошку собирать. Ну ты, городской интеллигент, — обратился он к Николаю, — как желаешь: лопатой или с помощью техники? — Узенькие глаза Пасынкова шурились, и в них виднелись чуть заметные

искорки смеха. Но Николай сделал вид, что не понял издевки.

— Давай к технике. Сам знаешь, душа она моя. — Он помялся и неловко добавил: — Со мной пойдет вот эта гражданочка.

— А-а, эта самая? — переспросил Пасынков, бесцеремонно разглядывая Зину. Зина сердито фыркнула и пошла впереди.

— Значит, уже перестроился? Смекнул, что сейчас в колхозе выгодней? — ехидно сказал Николай.

Пасынков уклончиво ответил:

— Перестроился не перестроился, а мимо своего колхоза не проехал. — И тут же прибавил, сворачивая с дороги на картофельное поле, где стоял трактор: — Вот мы и прибыли.

Возле трактора копошился парень с белыми волосами, выщипывая на висках, как у девчонки. Что-то памятное для Николая было во всей нескладной фигуре этого парня.

— Тимоха, а, Тимоха! — крикнул ему Пасынков. — Гляди, кого я приволок, дизентёра! — Пасынков нарочно искажил это и без того рязящее слово.

Николай хотел обругать Пасынкова, который все так же улыбался, щупая его хитрыми глазами, но Тимоша быстро оглянулся и, постояв с открытым ртом, как луна-тик, двинулся от трактора.

— О-о, Никола! — Он хотел еще что-то сказать, да заметил Зину, покраснел, застеснялся, начал оглядывать свою промасленную робу и пошел обратно к трактору.

Тимоша несколько лет проездил помощником на тракторе с Николаем и никак не решался самостоятельно сесть за управление. Трактор Тимоша знал хорошо, но Николай был уверен, что сейчас, при посторонних, он станет делать не то, что надо, потеряет до зарезу нужный ключ или гайку.

— Ну, командуй, кум Гаврила, — покровительственно заговорил Николай. — Привел — давай работу.

— С полным удовольствием, — подхватил Пасынков. — Работы у нас вагон и маленькая тележка. Стало быть, товарищи, вот где проехал трактор, собирайте картошку и в кучу. Работенка не пыльная, но денежная.

— Что платить будешь? — засмеялись приезжие.

— Тридцать дней на месяц, харчи ваши, стол казенный, — отшутился бригадир и, когда горкомхозовцы отошли от трактора, сказал Николаю: — Помоги Тимоше, а то твоя краля навела на него такое затмение, что ему до вечера не опамятоваться.

Не дожидаясь возражений Николая, Пасынков затрусил прочь, шаркая голенищами больших стоптанных сапог.

— Ох и ушлый! — покачал головой Николай, глядя вслед Пасынкову, и направился к Тимоше. — Ну, чего у тебя?

— Да вот с горючим что-то, засоряется, должно.

— А свечи-то зачем вывернул?

— Свечи? Думал, на них нагар.

— В карбюраторе ковырялся?

— Разбирал.

— Жиклеры продул?

— Жиклеры-то? Нет, не продувал. А что, думаешь, в них причина?

— Я ничего не думаю, сам говоришь, с подачей неладно. А ну, дай карбюраторный ключик.

Тимоша пошарил в траве, нашел ключик, подал его Николаю и застыл в ожидании приказаний. Все! Теперь он слуга покорный. Делать будет только то, что ему скажут.

Николай покосился на него, улыбнулся и, весело зашвистев, принялся разбирать карбюратор. Он прочистил жиклеры, подул в трубку подачи и, почувствовав на языке обжигающий вкус бензина, смачно слянул на землю. Потом ввернул свечи, проверил искру и весело крикнул:

— Тимош, крутни!

Тимоша изогнулся вопросительным знаком, налег на ручку, трактор хокнул раз, другой и, постреливая, бухая богатой смесью, затарахтел, вздрагивая всем корпусом. Над радиатором показалось улыбающееся лицо Тимоши.

— Уходи! — махнул ему рукой Николай и включил скорость.

Трактор дернулся, выбросил из трубы кольца дыма и вперевалочку пополз по полю. За ним широкой полосой тянулась переворошенная земля, на которой выводками лежали шершавые картофелины.

В прежние времена, сидя за рулем трактора, Николай

любил петь что-нибудь бесшабашное, громкое, лишь бы слышать свой голос. Он и сейчас затянул:

Бывали дни веселые,
Я по три дня не ел,
Не то, чтоб денег не было,
А просто не хотел...

Потом он обернулся и увидел примостившегося на месте прицепа Тимошу, который все еще улыбался. Николай сбросил газ, выключил скорость и, когда трактор остановился, с сожалением сказал:

— Давай, Тимош, садись на свое место.

— Да нет, что ты, Никола, езди, езди, — торопливо замахал руками Тимоша. Николай понял: парню неловко оттого, что Николай, его учитель, станет собирать за трактором картошку.

— Я поем маленько, а ты поезди.

Знал Николай, что это всего лишь предлог, но обрадованно согласился.

Он повернул трактор от межи обратно и, поравнявшись с людьми, собиравшими картошку, весело помахал Зине. Она разогнулась, поглядела на него и что-то крикнула, показывая на грудь. Николай глянул на себя и почесал затылок. Сатиновую косоворотку он уже успел вымазать.

Руки его делали свое дело, уши улавливали привычное тархтенье, а глаза забегали вперед, туда, за картофельное поле, за щетинистый перелесок, к Сычевке. Там, около озерка, точно разбросанные клочки бумаги, белели стаи домашних гусей, паслось стадо коров, возле школы сустились шустрые фигурки ребятшек.

Сентябрь! Бабье лето! Время, полное забот, трудов и осенних радостей, время уборки урожая. Солидная, ясная тишина кругом, в которую привычно и уверенно врывается шум тракторов, заглушая прощальные крики перелетных птиц. Люба эта пора сердцу деревенского жителя, особенно, если он долго не был в поле, давно не вдыхал густой, чуть пыльный воздух осенней пашни.

Спихватился Николай после того, как заметил солнце на маковке церквушки. По его давней примете это означало четвертый час. Он остановил трактор и, с удовольствием разминая затекшие ноги, зашагал к опушке леса, где у костра возился Тимоша.

— Во друг, видали его! — рассмеялся Николай, хлопнув Тимошу по узкой спине. — Спихнул трактор — и горя мало.

Тимоша потер и без того вымазанный лоб черной рукой, дружески улыбнулся, кивая на жарко пыхающие угли:

— Я тут соображаю насчет картошки дров поджарить.

— Печенки?

— Угу, — радостно зажмурился Тимоша. — Я ведь знаю, как ты их уважаешь. В городе-то никто печенками не угостит. Там, небось, только интеллигентные блюда: курица в соку и веник в чесноку...

Остричь Тимоша не умел, но когда он это пытался делать, не улыбнуться было нельзя. Николай присел на порыжевшую траву и почему-то со вздохом сказал:

— А ты, Тима, все такой же, мировой парень!

Даже сквозь слой мазута было видно, как вспыхнуло лицо Тимоши, и он бестолково засуетился у костра, выкапывая картофелины.

— Ешь, Никола, пока горячие.

— Давай одну. А вообще-то я налаживаюсь домой сходить. — Николай начал обдирать кожуру с обугленной на одном боку картофелины. Он дул на нее, перебрасывая из руки в руку. Наконец, обжигаясь, принялся есть рассыпчатую картошку и как бы между прочим поинтересовался: — Как там крестная поживает? И вообще расскажи, чего нового у вас? Как мой приятель Чепуштанов поживает? Никто ему голову еще не проломил? — Голос Николая сделался злым, широкие ломаные брови замкнули переносье.

Тимоша сдул с картофелины золу, помял ее на траве:

— Тетя Васса живет, как всегда, тихо-мирно, прихворнула тут немного, с ногой что-то опять.

— Болела, говоришь? — встревожился Николай и, вспомнив, что за целый год не догадался ни черкнуть крестной, ни попроведать ее, невнятно пробормотал: — Чего же это она и не сообщит даже?..

Тимоша быстро взглянул на Николая, и он опустил глаза.

— Эмтээс, сам знаешь, аннулировали, — тем же тоном продолжал Тимоша. — Ну и я оттуда тоже аннулировал.

ся. Оно и лучше — урожай свой и машины свои. А Чепуштанов отбыл в город. Оно и лучше — шуму меньше...

— Не дождался, значит, когда я с ним рассчитаюсь! — усмехнулся Николай.

— Чего тебе с ним считается? — пожал плечами Тимоша. — От навоза — подальше. Ну, а как ты устроился? — Тимоша доверчиво придвинулся. — Вижу, не совсем?

Да, перед Тимошей Николай не умел кривить душой.

— Какой там, не совсем, — махнул рукой Николай. — Работаю коновозчиком в горкомхозе, обещают на трактор посадить. Ждут со дня на день трактор-то. Зарботок хороший обещают, да мне радости мало. Мне поля эти чуждыся, покоя нет. Не поверишь — крестная да дом свой последнее время снятся. Нарочно долго брожу, чтобы крепче спать, а только глаза закрою — все то же.

— Почему не поверить? — сказал Тимоша и со вздохом прибавил: — Эх, Никола, зря ты, пожалуй, тогда расчет потребовал, принц своего рода показал. Потерпел бы.

— А если не терпелось уже, тогда как, по-твоему? Ну, ладно, Тима, пойду я домой схожу, со мной еще барышня тут.

— Уж обзавелся?

— Как видишь, успел, — ответил Николай и зашагал от огонька к рабочим, рассыпавшимся по полю.

— Слушай, Никола! — окликнул его Тимоша. — Ты бы вертался, на кой тебе нужна какая-то шарашкина контора?

— Что? Захотел опять на прицеп? — со смехом угрозил пальцем Николай.

До разговора с Тимошей Николаю удавалось как-то убедить себя в том, что причина его ухода из МТС была веской: не повезло с механиком и «контры» между ними дошли до того, что в позапрошлую весну Чепуштанов стал его посылать в колхоз на неисправном тракторе. Ему лишь бы отрядить технику в колхоз, а как она там работает — дело шестнадцатое. Но Николай-то был вчерашний колхозник. Он-то знал, что на поле нужна не мертвая, а рабочая машина, и потому отказался. Механик оформил на него дело в суд. Николай «в пузырь полез», не буду, мол, с таким механиком работать, и потребовал расчет с уверенностью, что ему откажут. Но расчет ему дали, и это всего больше обидело тракториста. «Ничего, я без вас

проживу! Вы без меня попробуйте!» — разгорячившись, решил он.

Время остудило его, начали донимать сомнения. «В самом деле, что это я? Показал свой «принц», как Тима говорит, покуражился, легко и просто распорядился собой, выбрал место в жизни. А то ли место? То! То! Трактор в горкомхоз скоро придет, зарабатывать хорошие деньги буду, жить в городе. С Зиной отношения налаживаются, семьей обзаведусь. Правда, жить в Зинином доме будет нелегко. Дома, у крестной, всегда сам себе голова был, а там... Меняется все. Вон технику в колхоз передали, и люди к ней позарез нужны. Опять же, вернешься — зубоскалить начнут, подтрунивать. Косолапый Пасынков уже сейчас «дизентером» обзывает, а что будет тогда? «Ну, началось! Мозги распухнут скоро», — замотал головой тракторист.

Как славно жилось ему на земле до прошлого года! Не так-то просто, оказывается, быть самостоятельным и распоряджаться самим собой.

Зина встретила Николая раздраженно:

— Ушел и ушел, с типом каким-то связался, перемазался весь, будто дитя. Кушать хочется, все уже давно поели.

— Ладно, Зин, не ворчи, а забирай свой узелок и пойдем к крестной, там и пообедаем.

Заметив, что Зина недовольно поморщилась, он более твердо добавил:

— Это у меня единственная родня на свете, с десяти лет воспитывался у нее. Она, говорят, прихворнула. У нее одна нога в колене нарушена.

Зина повязалась косынкой и озабоченно сказала:

— Да я ничего, раз нужно, так нужно. Только чтобы на машину уснуть.

Прошли немного молча, и Зина снова заговорила:

— Я все забываю у тебя спросить, что с твоими родителями случилось? Если неприятно, можешь не рассказывать, — торопливо поправилась она, заметив, как грустной тенью подернулось лицо Николая.

— Нет, отчего же, все равно надо будет рассказывать когда-то, — вздохнул Николай и, сорвав колосок, стал мять его в ладонях. — Осиротел я разом. Отец с матерью весной переходили реку, отчаянные, видно, были. Шли уже после подвижки, с базара. Ну, дошли до середины

реки, лед и тронулся. Я сам-то не видел, мне крестная рассказывала.

— Надо же так случиться!

— В жизни всякое бывает, — думая о чем-то своем, отозвался Николай и высыпал зерна в рот.

Они спустились на берег реки, стали умываться. Ветер подхватил подол штапельного Зининого платья, она поймала его, не стыдясь Николая, подоткнула подол и забрела в воду. А Николая отчего-то покорибила эта ее неторопливость и бесцеремонность. «Вырядилась! Картошку в модном платье приехала убирать. Перед деревенскими девками фасон держать решила», — думал он раздраженно, зная, что на свой огород она ходит в за-трапезной материнной кофте и вообще бережлива до скуности.

Дружба Зины и Николая была очень ровная, без ссор, тревог и волнений. Приходил Николай после работы к Зине домой, звал в кино. Она без разговоров собиралась, надевала тщательно отутюженное платье, не очень крикливое, но модное. Николай в своем поношенном костюме выглядел несколько тускло рядом с ней. И вообще он был менее развит. Зинина мать как-то за перегородкой прошипела на дочь.

— Чего ты с ним спуталась? Ты — булгахтер!

Зина ответила суровой отповедью насчет того, что пора классовых предрассудков миновала и пусть, мол, любезная мамаша не сует свой нос куда не следует.

Такое поведение Зины понравилось Николаю. Ему нравилось в ней многое: она аккуратна, начитанна, бережлива, не ветрена.

Мать с Зиной как-то незаметно и прочно приручили Николая. Он копал картошку на их участке, подвозил дрова, и его кормили на кухне, покамест как постороннего работника. Затеяли Зина с матерью дом строить на окраине, благо в горкомхозе стройматериалы можно достать за бесценок. Николай подвозил цемент, кирпич, доски. И на эту работу ему не выписывались наряды. Он подозревал, что на материалы вообще никаких нарядов не выписывается. Уж больно лебезит начальник горкомхоза перед своим бухгалтером. Не по душе было Николаю все это. Не нравилась ему и Зинина заносчивость. Она несколько свысока взирала на окружающий мир. Причиной тому, возможно, было ее раннее выдвижение на

ответственную должность или несколько уединенный и самостоятельный образ жизни. К немногочисленному конторскому аппарату Зина относилась деспотично и строго. Вечерует, например, Зина — и весь конторский штат сидит вместе с ней, хотя днем она, бухгалтер, может ходить по магазинам, делая вид, что контролирует парикмахерские, сапожные мастерские и баню. В конторе есть кормящая мать, кассирша, и другой занятой народ. Все они дружно поглядывают на часы, намекаяще вздыхают, дескать, вечер-то наступил, домой пора. Наконец кто-нибудь не выдержит и пойдет к начальнику горкомхоза. Тот выслушает и виновато разведет руками:

— Ничего не могу поделать, отчетность поджимает. Обратитесь к Зинаиде Федоровне...

К Зинаиде Федоровне обращаться не любили, и все шло своим чередом: вечеровал бухгалтер — вечеровала вся контора, а начальник ходил на цыпочках и обращался к своему бухгалтеру с заискивающей улыбкой: видно, был он кое в чем зависим от Зинаиды Федоровны. Начальник уже поставил дом, а теперь вот бухгалтер собирается, хотя дом ей вроде бы и ни к чему — детей нет, мужа нет.

Николай заглянул сбоку на Зину. Шла она с таким видом, точно хотела сказать: убирать картофель приехала только потому, что так нужно, и к тетке Николая иду тоже потому, что так нужно. Зине уже под тридцать. В таком возрасте приходится считаться кое с чем.

Разглядывая мелкие морщинки у ее скучных глаз, поседевшие от завивки волосы, он неожиданно решил, что слухи насчет того, будто Зина уже с кем-то жила не зарегистрировавшись, наверное, не пустые слухи. Избегает же она почему-то разговаривать на эту тему.

Николай расстегнул верхние пуговицы косоворотки, скомкал в руках кепку. Ветер ласково трепал его чуть волнистые волосы, забирался под рубаху, надувал ее на спине пузырем. Глаза Николая щурились, на душе было томительно. Он нарочно подставил лицо и грудь ветру, но легче от этого не делалось.

В доме никого не оказалось, и Зина просияла. Николай приподнял доску на завалинке, взял ключ.

— Во, порядок! — весело помахал он им. — Крестная по привычке оставляет.

В сенцах на полу лежали ветки папоротника. Тетка

Васса любит устилать ими пол после мытья. Волшебный запах папоротника мешался с грибным духом, ползущим от полусгнивших бревен старой избы. Николай долго вытирал ботинки о ветви папоротника, свернувшиеся на вершинках, как улитки, затем потянул на себя дверь, которая висела сверху на кожанке, внизу — на ржавом шарнире. Не раз Николай собирался заменить эту кожанку, в которую тетка Васса вколотила уже не меньше фунта гвоздей. В кухне у порога лежал, истертый обувью, тряпичный круг. Николай опять начал вытирать ноги, а Зина, все это время молча наблюдавшая за ним, усмехнулась и сердито поджала тонкие, чуть подкрашенные губы.

В передней, где раньше жил Николай, все было так же, как и до его отъезда. Деревянная кровать с облупившейся рыжей краской заправлена байковым одеялом, на стене — выдавшая виды переломка. От спускового крючка переломки тянулась к дряхленькому коврику паутина. Николай снял ружье, дунул на него, с трудом переломил, заглянул в ствол и задумчиво сказал:

— Заржавело.

Услышав свой голос, он как бы опомнился, взглянул на Зину, присевшую у окна, и торопливо повесил ружье.

— Будем есть или крестную подождем? — Он виновато помялся и решил: — Подождем уж...

Зина не отозвалась. Она чувствовала себя здесь чужой, ей было неловко и скучно. Николай поискал глазами вокруг и кивнул на полочку, где на пожелтевшей газете стояло в ряд с десятков потрепанных книжек:

— Может, почитать пока желаешь? Там есть и художественные штуки три.

— Не хочу, устала я, — нехотя ответила Зина и тем же безразличным тоном прибавила, взглянув в окно: — Вон какая-то женщина похрамывает, не твоя тетка, случайно?

Николай быстро подошел и, поглядев через Зинино плечо, выдохнул:

— Она.

Тетка Васса шла так же, как и раньше ходила, — медленно, припадая на правую ногу. Показалось Николаю только, что прихрамывает она больше обыкновенного, а на ее спокойном и немного суровом лице прибавилось что-то незнакомое. Ах, да, мешки под глазами, темные, дрябловатые мешки, которых раньше Николай не

примечал. «Не досыпает крестная или сдала так?» — грустно подумал он и, поймав на себе насмешливый взгляд Зины, отошел от окна.

У тетки Вассы в переднике было завязано несколько белобоких огурцов и до стеклянного блеска налитых помидоров. Она высыпала их на стол, отвязала передник и, поправив выбившиеся из-под платка жесткие волосы, заглянула в комнату:

— Ты чего, Коля не обедаешь? Здравствуйте!

— Вот знакомься, — Николай смущенно кивнул на Зину.

Девушка торопливо поднялась и, чуть раскланявшись, церемонно сказала:

— Зинаида... — Хотела что-то прибавить, но смешалась под пристальным взглядом тетки Вассы.

— Чего же, и знакомую свою кормил бы обедом, — заговорила тетка Васса. — Правда, обед наш деревенский: шти да каша утрешние в печи, может, и не поглянутя.

— Что вы, что вы, — робко запротестовала Зина. — Я ко всему привыкла, в войну и каша деликатесом считалась.

Зина посмотрела на руки тетки Вассы. Они были только что мыты, но зелень на пальцах и земля под ногтями остались. Очевидно, тетка Васса убирала овощи в колхозном огороде.

— Ну, коли так, милости просим. Я сейчас соберу на стол, — сказала тетка Васса и заковыляла в сенки. Старая выгоревшая кофточка приклеилась по желобку ее спины, на шее припотела пыль.

Когда тетка Васса вышла, Зинаида вполголоса проговорила:

— Ой и взгляд у нее! Она старая дева, да? Все они такие...

В голосе ее прорвалась невольная неприязнь. Зина спохватилась, заметив, как нахмурился Николай. Он хотел что-то сказать и вдруг ясно понял, что Зина уже составила свое мнение о тете Вассе и что она не только не поверит тому, что он может рассказать о самом близком ему человеке, но и не поймет, пожалуй.

А вот он хорошо знает, что скрывается под тяжелым взглядом тетки.

Война. По деревне бродят эвакуированные и вымени-

вают на картошку вещи. В дом тети Вассы завертывают девочка и мальчик, очевидно, посланные в деревню с расчетом, что им при обмене больше дадут. В руках у мальчика модельные туфли молочного цвета, а у девочки — пуховая шаль. Сама же она в какой-то куцей, сверхмодной фетровой шляпочке. На улице мороз. Дети греются у печки, рассказывают про Ленинград. Тетя Васса пригорюнившись слушает их, и выражение на ее мужиковатом лице с массивным подбородком такое, что Кольке зареветь хочется.

Накормив детей, тетя Васса взваливает на себя мешок с картошкой и отправляется в город. Туфли она уносит в котомке, а шалью повязывает девочку.

Сколько сил и тепла отдала она ему, Николаю. «А я год не появлялся и вестей не подавал». И вдруг мысль, которую он так настойчиво отгонял от себя все последнее время, одолела его: «Останусь, возьму вернусь, и все. Снова на трактор, на свой, на колхозный трактор! И в поле!».

— А что, и останусь! — повторил он вслух. — Вот возьму и...

Зина сердито взглянула на него, начала нервно чистить ногти и хотела заговорить, но услышала голос тетки Вассы из кухни:

— Дожили! Некому на машинах-то работать. Эмтэ-эсовские трактористы вон норовят урвать побольше или в город определиться. — Тетка Васса чем-то громыхнула. — И что за моду взяли нынче молодые — чуть чего так и в город, так и на казенный хлеб! А кто же его, хлеб-то, должен добывать?

Николай не отвечал. Спустя некоторое время тетя Васса позвала:

— Айдате за стол.

Николай сразу поднялся, Зина медлила. Тетка Васса обратилась к ней:

— Не знаю, как вас приглашать — как знакомую или как родную?

— Приглашай как родную! — широко улыбнулся Николай и ободряюще поглядел на Зину.

Зина сощурилась и чуть побледнела:

— Нет! — резко ответила она и, заметив растерянность на лице Николая, еще раз крикнула, топнув ногой: — Нет!

Хлопнув дверью, она прогремела каблуками по ступенькам.

— Гляди-ка ты, обиделась на что-то? — с недоумением сказала тетка Васса. Она виновато поглядела на свои второпях мытые руки, одернула короткую кофту. — Меня испугалась либо жизни деревенской нашей. Чего ж ты сидишь-то? Бабочка, видать, манерная, поди, уговори.

— Не сто́ит, — махнул рукой Николай, обиженный и обескураженный. — Подумаешь, цаца! — Он пренебрежительно фыркнул, задетый за живое поведением Зины и тем, что она унизила тетку Вассу. Однако тетка Васса властно взяла его за руку и легонько подтолкнула к дверям:

— Тебе со мной не вековать.

Николай догнал Зину уже за деревней. Стараясь придать своему голосу беззаботность, крикнул:

— Алё, Зин, тебя какая муха укусила?

Она не ответила и прибавила шаг. Николай догнал ее и, натянуто улыбаясь, тронул за рукав.

— Отстань! — передернула она плечами, и губы ее непримиримо сомкнулись.

— Верно, что с тобой? — уже серьезно спросил Николай.

— Что со мной? Что со мной? — зазвеневшим голосом выкрикнула Зина. — Закрутил мозги да еще спрашиваешь! Я ведь все вижу. Что, думаешь, слепая?

— Чего ты видишь?

— То и вижу, что душонка твоя прилипла к дряхлой халупе да к крестне этой, хромоногой.

— Ты это... крестную не задевай, — нахохлился парень. — Я твою мать ни одним словом не обидел...

— Чего-о? Мою маму! Ха-ха, попробовал бы тронуть? — презрительно сощурилась Зина. — Ты тетушкой своей покомандуй! — зло и вызывающе продолжала она и неожиданно запричитала: — Все вы — паразиты, обманщики, а я-то, дура, надеялась!

— Слушай, Зина, в чем я тебя обманул? Чего ты наговариваешь?

— Наговариваю? Не ты ли говорил насчет женитьбы, а? Вспомни-ка!

— Ну, говорил, и сейчас от своих слов не отказываюсь. Пойдем к крестной, и я повторю при ней.

— К крестной, в деревню? Вот ты куда меня тянешь! Что же ты мне, друг любезный, прикажешь бросить место в городе, размотать все барахлишко, мать побоку — и все это ради старой избенки да тетушки твоей?

— Просчиталась, значит?

Зина осеклась, поглядела на его непривычно холодное лицо и вдруг с отчаянием крикнула:

— Ты не просчитайся! Я из тебя хотела человека сделать!

— Ишь ты человекоделатель какой сыскался,— хмыкнул Николай. И тут же рассердился: — Вам с мамашей не человека, а работника надо в дом — дровишек напилить, поросенка заколоть. Ну, а я на это не го-ж. Я на самом деле приторос душой к этой деревушке и, может, сейчас только понял это. Ты помогла — и на том спасибо. — Он говорил уже почти спокойно: — Давай спеш. Вон машины пришли...

— И поспешу!

Зина, не прощаясь, побежала в гору, повторяя на ходу:

— И поспешу, нечего мне здесь делать...

— Это так...

Николай остановился. Вдали призывно сигналили машины. Фигура Зины в сиреновом платье удалялась и удалялась. Вот ветер сорвал косынку с Зининой головы. Она наклонилась, подняла косынку, выпрямилась и стояла несколько секунд в нерешительности, глядя на неподвижного Николая. Потом она сорвалась и еще быстрее побежала по колючей стерне. Из-под ног ее выбивалась пыль и стреляли верткие кузнечики.

По коноплянику, качавшемуся под ветром, перепархивали щеглы. С поля к реке спускался трактор, кренясь на правый бок. «Тимошин трактор», — узнал Николай.

Ветер ударил в лицо, Николай протер глаза рукавом косоворотки, а когда оглянулся, машин уже не было, только перекопанное поле с островками картофельных куч виднелось вдали. Трещал трактор уже за яром на косе, радио выплескивало музыку на притихшую деревню.

Солнце садилось за гору. Оно еще не заосенилось, это страдное солнце, и припекало днями, помогая людям собрать с полей плоды трудов своих.



ЖИЛ НА СВЕТЕ ТОЛЬКА

Владимиру Черненко

Жил на свете Толька Пронин. Были у него отец и мачеха, а у махечи другой парнишка — Сенька. Толька качал его в люльке, а Сенька сучил ногами, тряс побрякушку, пускал пузыри и, улыбаясь Тольке, разговаривал с ним на непонятном языке. Толька грозил ему кулаком и, дергая люльку, шипел:

— Спи ты! А то как двину! — И, чтобы не услышала мачеха, тут же припевал: — О-о-о, спи, малышка, — и еще тише: — Спи, паразит!

А потом семья распалась. Распалась быстро, но незаметно. Отец Тольки умер в больнице, а мачеха вскоре после его смерти забрала Сеньку и уехала из нового заповярного города. Остался Толька один в заброшенном домишке. Здесь в летнюю пору была парикмахерская. Дощатые стенки этого домишка плохо защищали от северных морозов, но Толька особенно не горевал. В городе четыре лесопильных завода, и отходов с них можно брать сколько угодно. Ему и раньше приходилось каждый день возить на санках дровишки, но безо всякого интереса, а теперь он делал это с удовольствием — не для Сеньки и не для мачехи возит!

Толька зажил в свое удовольствие, наслаждаясь свободой и покоем.

Что могло сравниться с теми минутами, когда, раскалив докрасна печку, он раскладывал на ней кружочки картошки и, не особенно беспокоясь, допеклись они или

нет, неторопливо, с чувством уплетал то подгоревшие, то почти сырые пластики.

За окнами северное сияние выделявало свои фокусы. Оно расстилало по небу такие красивые, похожие на материю полосы, каких Тольке не приходилось видеть даже в магазинах. От сияния скользил по снегу трепетный свет, проникал в избушку и играл на стенах, на печке.

Потом в комнате оставались бледные тени, они медленно ползали, точно искали чего-то. И бледный свет, от которого веяло волшебством, и тишина, которую нарушали лишь голодные мыши, скребущие по углам, заставляли Тольку пугливо настораживаться. Он сидел у печки, боясь шелохнуться. Мыши безбоязненно подбегали к нему и, хлопотливо попискивая, таскали картофельные очистки. Толька подкидывал и подкидывал в печку дрова. Ему было не так страшно, когда в ней плясали веселые огоньки.

У печки сосредоточилась Толькина жизнь. Здесь лежали мешок с картошкой, который, к огорчению мальчишки, заметно легчал, постель из половиков, консервные банки, заменявшие посуду, кучка дров, на которых ступнями кверху Толька пристраивал валенки.

Мачеха уехала тайком и забрала почти все. Многого не хватало в Толькином хозяйстве, но зачем ему какая-то посуда, постель и прочее барахло? У него было главное — независимая жизнь. Тем, кто хоть немного пожил со злой мачехой, понятно, что это значит.

Наевшись, Толька запивал холодной водой печеную картошку и зажигал фонарь, неизвестно каким образом попавший в дом с соседнего конного двора. После этого Толька завертывался в половики и ложился рядом с печкой. При тусклом свете фонаря он читал книгу до того, что глаза смыкались сами собой. Маленький Толькин мир проваливался в темноту. Спал он, сколько хотел, и делал, что вздумается. В школе он держался так, будто для него все трын-трава, и ходил с таким видом, что, мол, хочу — учусь, хочу — нет. Могу спустить девчонке льдинку за воротник, пострелять из резинки, прокукарекать на уроке. Некоторые ребята завидовали Тольке и старались водить с ним компанию.

Не один раз учительница посылала Тольку к директору школы. Директор писал записки на имя Толькиных родителей. Эти записки Толька читал вслух, ехидно

посмеивался и в заключение, плюнув на неразборчивую подпись директора, бросал их в печку.

Кое-кто из ребят узнал все-таки, что Толька остался беспризорником. Но он пригрозил «дать жизни» тому, кто расскажет об этом в школе. Характер Толькин ребята знали, оттого и помалкивали.

Все кончилось бы раньше и проще, не было бы этой тайны, которую так ревниво оберегал Толька, если бы не запугивания мачехи. Кроме никчемного скарба от мачехи, остался Тольке страх перед детским домом. Мачеха за любой проступок давала Тольке подзатыльники и обещала отправить его в какой-то таинственный приют, где ребят бьют проволоочной плетью, кормят селедкой и не дают воды. Она внушала ему, что приютские воспитатели — форменные звери. День за днем она пугала его грозным приютом и добилась своего: приюта Толька боялся больше всего на свете.

Прошло около месяца, и в Толькину избушку начала заползать нужда. Кончилась картошка, кончился керосин, даже мыши вроде куда-то исчезли. Голод одолевал Тольку. Однажды утром он забыл умыться, а потом вообще махнул рукой на это бесполезное дело. Весь он сжался, чувствуя, что к нему подступает что-то тяжелое. И на уроках теперь он сидел тихо, чем немало удивлял учительницу.

Однажды Толькина рука неожиданно наткнулась в парте на кусок хлеба. Незаметно положив хлеб в карман, мальчик на перемене убежал в раздевалку и съел его. Хлеб стал появляться в парте ежедневно. Толька подумал, что его забывает кто-то из учеников первой смены. Но как-то на перемене он заметил, что ребята таинственно перешептываются между собой. И понял все. Гордость и неприязнь к сытым ребяташкам победили голод. Толька бросил хлеб на пол и закричал:

— Я не кусочник!

С трудом сдерживая слезы, он сунул учебники за пояс и убежал из школы.

В этот день Толька украл в магазине с прилавка небольшой довесок хлеба. Сколько мук доставило ему это! Толька протягивал к ржаной на редкость поджаристой горбушке руку и тут же отдергивал ее. Ему казалось, что все в магазине смотрят на него. Наконец он схватил первый попавшийся довесок хлеба и опрометью бросился из

магазина. Долго колесил он по улицам и переулкам, прятал кусок то за пазуху, то в карман, но ему казалось, что все равно хлеб заметно.

После пережитых волнений изжевал он кусок без всякого аппетита и решил больше не красть.

Вечером Толька от нечего делать забрел на конный двор. Здесь было удивительно мирно и спокойно. Кони с хрустом жевали сено, пахнущее летом, блаженно фыркали, нюхали через загородку друг друга. Долго стоял Толька, прислушиваясь к лошадиной жизни. Даже дремота его стала разбирать. Он встряхнулся, боязливо погладил одну лошадь и нагрузил из ее кормушки полные карманы овса. Лошадь, как показалось Тольке, укоризненно смотрела на него из сумрака большими темными глазами. Толька снова погладил ее и сказал шепотом:

— Ничего, у тебя ведь много.

Мальчик поджарил овес на печке и принялся его шелушить. Овсом до боли искололо язык, но это все-таки была еда, и Толька решил, что временный выход из положения найден.

Когда не хотелось спать (а натошак спалось плохо), он читал книгу с приключениями, мечтал по-своему: «Скорей бы до весны дожить, до первого парохода! Поеду я далеко-далеко, в жаркие страны. Хоть зимой, хоть летом там теплынь и шамовки завались. Буду я, как Робинзон Крузо или Миклуха-Маклай. Может, остров какой сыщу, небось, не все еще открыты: земля-то вон она какая широкая!»

С мечтой жилось легче. Утром Толька бодро пришел в школу, бросил в парту замызганные учебники и с независимым видом принялся за овес.

— Ты чего жуешь? — спросил Вовка, с которым Толька сидел рядом уже вторую зиму.

— Семечки.

Вовка протянул руку под партой и шепнул:

— Сыпани малость.

Толька покраснел, помялся и высыпал ему на ладонь шепоть овса. Вовка попробовал и восхитился:

— Вкусно!

Толька ухмыльнулся и ничего не ответил. В перемену Вовка попросил еще. На этот раз Толька дал ему побольше — коль нравится, жалко, что ли! Вовка выбежал в коридор, а Толька остался за партой. Отцовы валенки

совсем развалились и были перевязаны проволокой; штаны и рубаха тоже запачкались и порвались. И шут его знает, где и когда они порвались! Толька попробовал чинить штаны, но стянул нитками рванье, и те места, где были дыры, напоминали рубцы недавно заживших болячек. Показываться на люди в такой одежде было совестно.

Вовка вернулся из коридора не один, а с ребятами. Они наперебой стали кланчить овса, расхваливать его на все лады.

— Давай, Толька, меновую сделаем, — предложил Вовка.

— Какую меновую?

— Ну... ты нам — овса, а мы тебе свой завтрак, нам эти завтраки надоели хуже горькой редьки. Все хлеб да хлеб.

«Дуралей», — решил Толька про себя и снисходительно согласился:

— Что ж, можно, конечно, и сменять.

Сделка была выгодной: за несколько горстей овса он наелся досыта да еще унес домой два бутерброда. А так как ребята настойчиво требовали еще овса, на конный двор он пошел вечером уже с мешочком. Когда Толька шмыгнул обратно к воротам конного двора, из сторожки, где хранилась сбруя, вышел сторож и остановил его:

— Ты чего здесь делаешь?

Толька держал за спиной мешочек и не знал, что ответить.

— Овсеца-то зачем набрал, милоч?

Решив, что дедушка с таким добрым лицом не пожалует овса, мальчик глухо ответил:

— Есть.

— Е-есть? — удивленно произнес старик. — Как так есть? Ты что, конь или курица, чтобы овсом кормиться? Постой, постой, да ты чей будешь? Вроде бы мне твое обличье знакомо.

— Пронин я. Толька Пронин.

— Так, та-а-ак, — задумчиво протянул сторож. — Значит, живете по соседству. Знавал я отца твоего покойного. А мачеха-то где?

— Уехала куда-то.

— Вон-на что? — с изумлением поднял брови старик и засуетился. — Погоди-ка, сынок. — Он засеменил в сто-

рожку и вынес оттуда краюшку хлеба, на которой соблазнительно красовались три вареные картофелины и кусочек сала. — На-ка вот поешь, дорогой, а овес-то брось, не дело им питаться.

Толька прижал краюшку и тихо сказал:

— Спасибо, деда.

— Ешь, ешь на здоровье, голубок, — наговаривал старик, провожая его с конного двора, и уже в воротах спросил: — В детдом-то пошто не идешь?

— Лупят там нашего брата.

— Кто это тебе наговорил?

— Сам знаю.

Однако Толька не удержался. Он доверчиво высказал деду все свои страхи и заявил, что в приют он «ни в жизнь не пойдет».

Старик задумчиво прищурился, потерял бороду и проговорил, вздохнув:

— Ну что ж, вольному воля...

В эту ночь Толька видел разные приятные сны: то свою шумную школу, то поля золотого овса, то жаркие страны, где на деревьях растут вареные картофелины величиной с арбуз, то доброго седенького деда. Проснулся он от чьих-то разговоров и шагов по скрипучим половицам. Только что видел он дедушку с конного двора во сне — и сейчас слышался его голос. Тольке казалось, что сон еще продолжается.

— ...Не дело это, товарищ милиционер. Живет он в холоде, в голоде, изведется малый.

— Почему он сам не заявляет о том, что остался один? Давно бы уже в детдоме был, — отозвался незнакомый голос.

— Э-э, милай, сейчас все узнаешь, — ответил старик и тихонько потянул половик, в который Толька закутылся, как в одеяло.

— Голубо-ок! Вставай-ка, горемыка, дядя за тобой пришел.

Толька быстро вскочил и, едва различая при бледном свете волосатое лицо старика, задыхаясь, прокричал:

— У-ух ты, старый! Хлеба дал, картошки дал! Я думал, ты добрый! А ты продал меня! Не пойду в приют! Не пойду, хоть на месте застрелите!

— Да ты что, милай! Зачем ругаешься? Тебе ведь люди добра хотят, — приговаривал дед, пытаясь погладить

его по голове. — Пойдешь в детдом, там тебя оденут, обуют, кормить, учить станут, с ребятами такими же, как ты, жить будешь. Там и тетеньки есть, воспитательницами называются. Они тебя полюбят, ты вон какой парень — боевой да умный...

— Да, полюбят, по спине плетью с проволокой, — уныло отозвался Толька. — Дяденька милиционер, дедушка, мне здесь хорошо, не отправляйте меня в детдом! А? не отправляйте?

— Таким родителям на осиновом суку самое подходящее место, — негромко сказал дед.

— Хорошо, мальчик, в детдом тебя не отправим, — сказал милиционер, — сходишь со мной, тебя там спросят, запишут и отпустят.

— Иди, голубок, иди, хорошо тебе будет. Потом ко мне, старику, прибежишь, спасибо скажешь, — ласково говорил дед.

И Толька понял, что детдома ему не миновать.

На улице все еще было сумрачно. Впрочем, и весь зимний заполярный день напоминает сумерки. Светает медленно, словно ленивый человек поднимается с постели. Сумерки были Тольке на руку. Шагая с милиционером, он подсматривал удобное место и выжидал подходящий момент. И вот он, этот момент: узкий проулок впереди и открытые ворота. Толька рванулся в сторону, вильнул за сугробы и побежал что было силы. Вдогонку ему несся голос милиционера:

— Мальчик! Мальчик! Постой, глупый...

Толька нырнул в ворота незнакомого дома, милиционер пробежал мимо. Сердце Тольки радостно колотилось. Снова свобода, раздолье и никакого детдома!

Однако он быстро понял, что в жизни его наступила большая перемена. Домой ему возвращаться нельзя, идти некуда. Осталась только школа. Но и в школе дела у Тольки обстояли неважно. Он напропалую грубил учительнице и отличникам, без всякой причины лез в драку, чтобы сорвать свою злость. Вера Семеновна — классный руководитель — сердилась, отчитывала его при всех. И всего обидней было стоять перед всем классом в порванных штанах, в дырявой рубашке и огрызаться. Он чувствовал, что скоро наступит момент, когда не выдержит и заревет.

Не-ет, реветь он, Толька Пронин, не станет. Не из та-

ковских он, чтобы его нюни весь класс увидел. Лучше в школу не пойдет, все равно уж теперь.

Зачем она нужна, школа? Э-эх, дожить бы ему до первого парохода! Места надо ему совсем-совсем маленько. Не больно раскормлен, в какую-нибудь щель заберется так, что сам капитан не сыщет.

Долго бродил Толька в этот день по городу, ходил из магазина в магазин, из столовой в столовую. Хотелось есть, было тоскливо и обидно. Вот он пристроился в библиотеке на диване, листает журнал, смотрит картинки, голова клонится — в тепле потянуло спать. Он встряхивает головой и глядит на стенные часы. И ясно вдруг представляет себе, что сейчас делается в четвертом классе.

Вот прозвенел звонок — начинаются занятия во вторую смену. Ребята привычно усаживаются за парты, вынимают из сумок чернильницы, книги, тетради, успевают посмеяться, ущипнуть девчонок. Самые отчаянные, приоткрыв дверь, смотрят в коридор и, крикнув «Идет!», бросаются на свои места. В класс входит Вера Семеновна со строго поджатыми губами. Ребята позаглаза называют ее ронжей в честь рыжеголовой птицы, которая умеет надоедливо каркать. Учительница поправляет рыжие волосы, открывает журнал и начинает переключку. Дойдя до Толькиной фамилии, оглядывает класс, приподнимает брови и с нескрываемым раздражением говорит:

— Опять нет!?

Долго он сидел в библиотеке и думал: «Где ночевать? Что есть?» Ему хотелось лечь и умереть, но только так умереть, чтобы он мог видеть и слышать, как станут жалеть его и как учительница будет раскаиваться, проклинать себя, может быть, заревет даже оттого, что обижала когда-то заброшенного мальчика.

Что только не лезло в голову в этот тяжелый день. Спать ему пришлось на чердаке городского театра, около горячих труб парового отопления. После кошмарных снов, грязный, измученный, он пробродил полдня по городу, доел остатки чьего-то обеда в столовой и, не в силах перебороть себя, побрел в школу.

Он встал в углу около школьной раздевалки и, глотая слезы, подкатывавшиеся к горлу, смотрел на пробегающих мимо него чистеньких и довольных ребят. Он не заметил, как подошел Вовка и тихо спросил:

— Толь, ты почему в класс не заходишь?

Толька хотел ему ответить, но вдруг отвернулся и заплакал. Вовка растерянно топтался и неловко успокаивал его:

— Не реви, Толька, ну, брось. Пойдем в класс. Наплюй на все. Вере Семеновне я такое наговорю за тебя, такое... — Вовка помялся и, ковыряя носком валенка в щели пола, виновато предложил: — Ты ведь есть хочешь, не обидишься, если я тебе отдам свой хлеб... — Он вытащил из портфеля бутерброд и сунул его Тольке. Увидев, что тот спрятал руку с хлебом за спину и смотрит в пол, Вовка заторопился:

— Давай ешь, а я в класс побегу, чернил налью. Я тебя ждать буду, ну? Приходи, ну, ладно? Идет?

Толька стер ладонью слезы, снял пальтишко, проглотил бутерброд и пошел в класс. Вовка вытащил из портфеля новую тетрадку, дал запасную ручку, рассказал, что проходили вчера, и даже сам переписал в Толькину тетрадь примеры вместе с ответами, заданные на дом. Толька приободрился и повеселел. На уроке Вера Семеновна велела Тольке встать, сощурившись, осмотрела его и с усмешкой спросила:

— Пронин, ты, может быть, вообще в школе не нуждаешься? Может быть, слишком грамотен стал?

Толька уткнулся взглядом в чернильное пятно на парте и молчал. Учительница погасила усмешку и выпрямилась, поджав губы:

— Когда кончится твое самовольство? Когда ты станешь серьезным учеником, когда ты перестанешь мучить меня? — Она раздраженно оттолкнула в сторону классный журнал. — Чего только родители смотрят — не понимаю! Ходит грязный, неряшливый, уроков не учит...

Вдруг Вовка вскочил и прерывающимся голосом крикнул:

— Нет у него никого! И вы, Вера Семеновна, ничего не знаете и ничего не понимаете... вот! — губы Вовки скривились, он, хлопнув крышкой, сел, лег лицом на руки и протянул: — Ему даже есть нечего и ночевать негде-е-е...

В классе были слышны только Вовкины судорожные всхлипывания. Сдерживаясь, чтобы не разреветься, Толька терзал рукой тетрадь и молчал:

— Как нет никого?.. — через некоторое время растерянно вымолвила учительница и, видимо, поняв все, сказала:

— Толя, выйдем со мной.

В классе зашептались, задвигались; кто-то из девочек удивленно воскликнул:

— А мы и не знали ничегошеньки!

В учительской было пусто. Нервно поправляя прическу, Вера Семеновна посмотрела на Толькины драные валенки, по-лягушечьи раскрывшие рты, на его грязную руку, которой он пытался замаскировать дыру на штанах, и дрогнувшим голосом сказала:

— Почему же ты молчал?

Только уткнулся лицом в ее платье, пахнувшее духами, и разревелся.

Учительница гладила его по голове, что-то говорила, но он не мог остановить слезы. Наконец Вера Семеновна легонько отстранила его, усадила на диван, утерла нос мягким ароматным платком и ушла в класс. Вскоре она вернулась, села рядом с Толькой и тихонько проговорила:

— Сейчас ты расскажешь мне, Толя, все, все, правда?

Он согласно кивнул головой и, все еще время от времени прерывисто всхлипывая, начал рассказывать.

Прозвенел звонок. В учительской появились учителя. Он замолчал, но Вера Семеновна каким-то виноватым голосом попросила:

— Продолжай, продолжай, Толя, это полезно услышать не одной мне.

Только чувствовал, что огорчил ее сильно, и ему стало не по себе. Стесняясь учителей, он говорил уже не так свободно, как наедине с Верой Семеновной.

После того как Только смолк, преподаватели тоже долго молчали. Вера Семеновна вытащила из сумочки носовой платок, выпачканный о Толькин нос, и теребила его пальцами.

Завуч, седая высокая женщина, взяла из коробки папиросу и, постучав мундштуком о край стола, сказала, глядя в окно:

— Да-а-а... хороши воспитатели, нечего сказать! Ребенок больше месяца без родителей — и мы не знаем этого. — Она закурила и, размахивая спичкой, которая не гасла, продолжала: — Ну, ладно, Вера Семеновна — молодой преподаватель, она могла не догадаться, не поинтересоваться, хотя и стоило. Но мы-то мы-то, что смотрели?

Спичка обожгла руку. Завуч резко кинула ее на пол.

— Плохо, очень плохо мы работаем и с детьми, и с родителями, не знаем ни тех, ни других, как следует, а еще жалуемся на скверную успеваемость.

Завуч глянула в Толькину сторону и смолкла. Затянувшись несколько раз подряд, она смяла недокуренную папиросу и другим тоном проговорила:

— К этому разговору мы еще вернемся. А сейчас, Вера Семеновна, идите в горно и сегодня же устройте мальчика в детский дом.

В буфете горисполкома Вера Семеновна усадила его за столик, купила стакан сметаны и сайку. Толька начал было неуверенно отказываться, но она ласково потрепала его ершистые волосы и шепнула:

— Ешь. Я сейчас вернусь, жди меня здесь.

Когда она вернулась, в стакане не было и признаков сметаны, так тщательно Толька вытер ее кусочком.

— Может, ты не наелся, Толя? — спросила Вера Семеновна.

Стакан сметаны и небольшая сайка, конечно, были для него пустяком, но он сделал над собой усилие и заявил, что сыт по горло.

Вера Семеновна достала из-за рукава дошки маленькую бумажку, положила ее перед Толькой:

— Вот твоё направление в детский дом. Я могу тебя проводить, но ты пойдешь один, так будет лучше, и ты не обманешь меня. Не обманешь ведь, правда?

Толька помолчал и, вздохнув, выдавил:

— Ладно, пойду.

— Иди Толя, смело иди. Мачеха неправду сказала тебе о детдоме. Приютов, какими она тебя пугала, давно уже нет в нашей стране. Ты убедишься в этом сам, а если кто тебя обидит, скажешь мне. Хорошо?

— Я теперь, Вера Семеновна, все буду вам говорить.

— Ну вот и хорошо, Толя, вот и хорошо, мальчик.

Она проводила Тольку на улицу, подняла воротник его пальтишка, надела на его руки свои варежки и, на мгновение прижав к себе, сказала:

— Иди, Толя, иди.

Размякнув от непривычной ласки, сконфуженный, оглушенный, шел он по заснеженной улице и снова его душили слезы.

Детдом находился не в самом городе, а немного на отшибе. Новый дом с большими окнами стоял на пригорке. Напротив крыльца было озеро, от которого беспорядочно разбегались в стороны березки, ивовые кусты вперемежку с чахлым ельником, а дальше — белые бороздки — цепь озер, которым в запольяре счету нет.

Толька, замедляя шаги, подходил к детдому и вдруг замер. Из-за барьеров снега, загораживавших озеро, до него донеслись крики, визг, свист. Он долго стоял в стороне, не решаясь подойти ближе. «Что там делается? Уж не порют ли?» — подумал Толька. Он растерянно снял варежки, подул на коченеющие пальцы и сунул руки в карманы. Правая рука наткнулась на бумажку, и его потянуло прочь отсюда, в пустую, но милую избушку. Остановило его слово, которое он дал Вере Семеновне. Он только теперь понял, что попался на удочку и сплоховал! Что бы там ни было, а он должен был идти в этот, с виду мирный, но казенный и потому неприветливый дом. Есть же на свете счастливые ребята! Им не надо ходить с направлениями, у них своя семья. А тут хоть бы бабушка была, ну хоть бы кто-нибудь...

Наконец Толька решился. Стиснув в руке бумажку, он пробежал по широким ступенькам: раз, два, три... шесть... восемь... Вот и блестящая дверная ручка. Он взялся за нее, хотел дернуть дверь, но рука как-то сама собой выпустила скользкую ручку. Измученный и бледный, он оперся на деревянную колонну плечом, поднял руку вытереть пот со лба, да так и замер, взглянув на озеро. С высокого крыльца все озеро видно как на ладони.

Что там делается! На зеленоватом льду, исчерканном коньками, полным-полно ребятешек. Будто маковые цветы, по озеру мелькают красные, белые шапочки. Ребятишки барахтаются, бегают, кричат, катаются кто на чем. Особенно оживленно около больших деревянных салазок. Седоков много, а салазки малы, все валяются на них разом. Возчики пробуют сдвинуть их с места, скользят, падают, бросают веревку и с криком: «Куча мала!» — тоже валяются на санки. Ребята постарше, заложив руки за спину, катаются на коньках и не обращают внимания на малышей. А вот двое мальчишек, став в позы боксеров, потоптались, как петухи, на месте, делая выпады издалека. Вдруг мальчишка, что был повыше ростом, начал

осыпать ударами другого. Толька был сторонником напористого боя, но он всегда за слабых. Поэтому, позабыв обо всем на свете, он топтался на месте и шептал:

— Ну, двини ему, садани! Привари разок! Да тресни же ты его! Тресни! Э-эх!

Будто услышав Толькины призывы, мальчишка, за которого он «болел», ловко увернулся от удара и стукнул длинного под левую руку.

Толька подпрыгнул и заорал:

— Каа-апут!

А победитель поднял руку, как боксер, и провозгласил:

— Нокаут! Вот, не рыпайся больше.

Потом они с хохотом побежали к салазкам, около которых все еще копошилась куча. Толька с восторгом и завистью смотрел на ребяташек, одетых в одинаковые шубки с серыми воротниками.

Внезапно сзади него задзинькал звонок. Толька вздрогнул, обернулся и увидел девочку. Была она в белом переднике, в летних тапочках. Она, торопливо потрясая звонком, одновременно подпрыгивала от холода и кричала:

— Обед! Обед!

Ребятишки вперегонки кинулись к дому, теснились в дверях, подталкивали друг друга. Дверь захлопнулась. Стало тихо-тихо и пусто. Лишь одна девочка, тихонько напевая, обметала варежками снег с валенок. Она было взялась за дверную ручку, но посмотрела на озеро и сказала:

— Вечно эти мальчишки салазки бросят!

Вприпрыжку вернулась она на озеро и прокатилась на санках одна себе, на просторе. Ей, видимо, понравилось. Она прокатилась еще несколько раз. Заметив Тольку, девочка приблизилась к нему и спросила строгим голосом:

→ Ты чего здесь, мальчик, стоишь?

Он растерялся:

— Да так, ни... ничего... стою и стою... вот! — И протянул скомканную бумажку.

Девочка с серьезным видом взяла бумажку, расправила ее и принялась читать. Словно убеждаясь в чем-то, она придирчиво осмотрела Тольку и деловито осведомилась:

— Значит, тебя зовут Толей?

— Ага, Толькой.

— Не Толькой, а Толей, — наставительно сказала девочка. — У нас никого не велено так называть, знай об этом сразу. — И торопливо прибавила: — А мое имя Галя. Галя Лазарева.

Толька промычал что-то в ответ, а про себя подумал: «Эка, важность, Ла-а-азарева! Видали мы таких Лазаревых, подлиза какая-нибудь».

В дверях салазки застряли. Толька решительно отстранил девочку и сам внес санки в прихожую. Галя усмехнулась, но ничего не сказала, а проводила его в раздевалку. Толька, затаив дыхание, смотрел на шубки с серыми воротниками и постеснялся повесить среди них свое драное пальтишко. Все равно у пальтишка вешалки не было. Мальчик скомкал его и бросил в угол. Не поборов соблазна, Толька погладил воротник у одной шубки и подумал: «Отличникам, наверно, дают. Дали бы мне такую, я бы тоже отлично учиться стал, шут с ними».

Галя провела его в комнату с ванной и побежала куда-то. Пришла пожилая женщина в цветной косынке. Женщину эту звали няней Улей. Она велела Тольке сбросить одежку и, пока ванна наполнялась водой, остригла машинкой его скатавшиеся волосы.

— А ну, дитятко, пощупай воду, не горяча ли?

Толька погрузил в воду руку и прошептал:

— Хорошая!

Несколько раз няня Уля меняла воду, которая делалась мышиноного цвета, и, натирая Тольку мыльной мочалкой, приговаривала:

— Эк ты, дитятко, зарос! Ну, ничего, обиходим мы тебя — и будешь ты как новый гривенник!

Наполнив эмалированный таз водой, она начала скачивать мальчишку, приговаривая:

— С гуся вода, с лебедя вода... Тебя как зовут-то?

— Толька.

— С Толи худоба...

Когда он вымылся и надел новую одежду, пришла Галя, взяла его за руку и повела по коридорчику, вдоль которого тянулась узорчатая дорожка. Они шли в ту сторону, откуда доносилось позвякивание ложек о тарелки.

— К нам новичок, Анна Павловна, его зовут Толей, — важно промолвила Галя, войдя с Толькой в столовую.

Сразу стало тихо. Десятки пар любопытных глаз уставились на Тольку. К нему подошла молодая женщина и, положив руки на его плечи, обратилась к ребятам:

— Где, ребята, есть свободное место для Толи?

За столами задвигались, застучали стульями, отовсюду понеслось:

— К нам новенького, здесь свободно! К нам! К нам!

— Н-не-ет уж, — не выпуская Толькиной руки, сказала Галя. — Я новенького привела — и за столом он будет за нашим!

— Ты куда хочешь сесть, Толя? — наклонившись к Тольке, спросила Анна Павловна.

— Мне все равно, — растерянно пробормотал он. — Если можно — с Галей.

Его усадили за стол, покрытый голубой клеенкой. Толька увидел посреди стола, рядом с тарелкой белого хлеба, блюдечко с солью, на стенах — картины, нарисованные на картонках и бумаге, на окнах — марлевые занавески с кошачьими мордочками.

Тарелка с рисовой кашей у Тольки опустела моментально. Он скосил глаза на соседей и обмер: «У людей еще половины каши не съедено, а я уж всю свою слупил». Толька опустил глаза и начал под столом разглядывать свои непривычно чистые руки.

— Толя, ты почему не кушаешь? — донесся до него голос Анны Павловны.

Толька поднял голову и удивился: перед ним стояла новая порция каши с луночкой желтого масла в середине. Удивленно поглядел он на Галю, но она, как ни в чем не бывало, помешивала ложечкой в стакане. Пока он доедал вторую порцию, перед ним очутилась третья. Ребята потихоньку наблюдали за ним, но стоило ему взглянуть в их сторону, как они делали вид, будто его тут вовсе нет.

И вдруг Толька понял, что все они когда-то пришли сюда такими же грязными, робкими и голодными, как он. Это открытие и обрадовало его и потрясло.

Перестав стесняться, шмыгая носом, он съел еще порцию, а кофе выпить не смог и с сожалением отставил недопитый стакан.

После обеда Анна Павловна увела его в канцелярию и записала в толстую книгу. Заметив, что Толька то и дело искоса бросает взгляды на корешки книг за стеклянными дверцами шкафа, она спросила:

— Любишь читать, Толя?

— Ага, люблю.

— А что читал?

Он назвал ей несколько книг.

— Ты уже читал «Тихий Дон»? — удивилась Анна Павловна.

— Читал. Интересно, только не все, — откровенно признался Толька. — Про войну интересно, а про лирику и про любовь — не шибко.

— Про что? Про что? — прикрыв рот рукой, переспросила Анна Павловна.

— Про лирику.

— Хм... кто это тебе такую книгу дал?

— Никто не давал. Я ее в городской библиотеке оформил.

— Как оформил?

Толька помялся:

— Ну... спер.

Анна Павловна поморщилась и спокойным, но твердым голосом сказала:

— Читать надо не все, что под руки попадет, тогда, глядишь, со временем интересно будет и про войну и про лирику.

Она снова улыбнулась чуть заметно и, провожая его, добавила:

— А красть ты теперь перестанешь. Договорились?

Он кивнул головой.

И вот Толька в той комнате, где, по разговорам, он будет жить. Стены комнаты украшены картинами, на окнах в горшках цветы, как в обычном доме.

— Вот здесь ты будешь спать, — сказала Анна Павловна, подведя его к кровати, стоявшей в углу. — Ребята научат тебя заправлять постель. Сидеть на кровати не нужно, для этого есть стулья. Уроки будешь учить в классной комнате. Словом, знакомься с ребятами, они тебе все расскажут и покажут.

Обращаясь к ребятам, которых набилась полная комната, Анна Павловна сказала:

— Вот, ребята, новый мальчик, Толя. Вы все его видели в столовой. Познакомьтесь с ним ближе и покажите ему все.

К Тольке по одному начали подходить мальчики, девочки и, подав руку, называли свои имена. Соня, Таня,

Клава, Миша, еще Миша, Валя-девочка и Валя-мальчик... Где тут их всех запомнишь.

Потом до самого позднего вечера он ходил из комнаты в комнату. Чего только ему не показывали, чего не рассказывали. От всего виденного и слышанного у него в голове какая-то неразбериха.

После звонка Толька повесил на спинку стула аккуратно сложенные куртку, рубашку и штаны, как это делали остальные, и забрался в мягкую, прохладную постель.

Ух, хорошо! Никогда еще не спал он в такой мягкой постели. Виденное за день теснилось в его голове. Прошло много времени, прежде чем он задремал.

Но вдруг будто кто толкнул его. Он резко приподнялся и осмотрелся кругом. Нет, все тихо, замолк шумный дом, спит... «А когда же будут лупить-то?» — вспомнил Толька и подумал, что, наверное, с завтрашнего дня. «Сначала они ласково, а потом уж отлупщуют». Но тут же решил, что если дерут не особенно сильно, то стерпеть ради такого житья можно. «Ничего, не сахарный, не рассыплюсь»...

...Перед его глазами снова проплыли радостные лица ребят, задумчиво-спокойное лицо Анны Павловны с голубыми глазами и, наконец, доброе-доброе, изрезанное морщинами лицо няни Ули. Он тихонько улыбнулся и несколько раз с удовольствием повторил мягкие, музыкальные слова:

— Няня Уля, няня Уля...

Уже сквозь сон Толька услышал, как тихонько отворилась дверь. Осторожно ступая, кто-то подошел к кровати, погладил его стриженую голову. От руки пахло хозяйственным мылом и еще чем-то непонятным, до боли близким. Он прижался щекой к этой теплой шершавой руке. В памяти возник образ матери, которую он чуть-чуть помнил. Вот так же тихо склонялась она когда-то к его изголовью.

И он заснул впервые за несколько лет глубоким, спокойным сном...



КРОВЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Он заметил этого парня сразу, как только вошел в магазин. Парень ничем особенным не выделялся среди покупателей. Одет, как многие молодые люди сейчас одеваются, в серую спортивную куртку и лыжные брюки. Только волосы у него чуть длиннее, чем у других парней, и замочек на куртке раздернут чуть подальше, чем это делается обычно.

И все-таки Сергей Дмитриевич понял: парень этот — жулик. Подчеркнутое безразличие ко всему, высокомерный прищур, за которым скрывалась настороженность, и особенно руки, засунутые в карманы куртки, — выдавали его. Никто не прячет руки так тщательно, как карманник.

Сергей Дмитриевич занял очередь в гастрономическом отделе. Он перебрасывался словами с покупателями, изучая цены на сыр, селедку, вино, и в то же время следил за тем, что делал парень в спортивной куртке.

Вор работал грубо. Лез в карманы напропалую, и было в его работе больше нахальства, чем ловкости. «Сейчас я его куплю», — пришла Сергею Дмитриевичу озорная мысль. Он вынул деньги — их было полсотни, — отсчитал двенадцать рублей, остальные сунул в брючный карман — и тотчас превратился в покупателя-ротозея, который не потому ротозей, что слишком небрежен, а потому, что уж больно осторожен.

Сергей Дмитриевич нарочно стиснул в кулаке деньги и оттопырил карман, наперед зная, что вот сейчас он подойдет к весам, начнет рассчитываться с продавцом, укладывать покупки в сетку, и вор непременно в этот момент полезет к нему в карман.

Нервно скомканная трешка просунулась через плечо Сергея Дмитриевича. На шее он ощутил горячее дыхание. Сейчас парень еще плотнее навалится на него, попросит не слишком громко и не очень тихо пачку «Беломора», а продащица потребует с него мелочь. Начнется недолгое препирательство. А в это время...

Вот оно — робкое, почти нежное прикосновение к бедру. Ползут, ползут в карман затвердевшие и в то же время невероятно чуткие пальцы. Парень перестал дышать, и Сергей Дмитриевич затылком чувствовал, как расширились у карманника глаза, как ушли из них сила, ум, совесть — все, что дала ему от рождения мать, — все ушло и повисло на кончиках пальцев.

Сергей Дмитриевич поймал руку вора за локоть, и она сразу ослабела, потом напряглась, рванулась.

— Отойдём в сторону, — вполголоса сказал Сергей Дмитриевич.

И вор покорно последовал за ним с мгновенно осунувшимся лицом.

— Не получилось наколки? — усмехнулся Сергей Дмитриевич и, выходя из магазина, предупредил: — Не вздумай мотануть — хуже будет. — Жулик смирился. Сергей Дмитриевич вывел его на улицу и сказал: — Не умеешь работать, корешок. Не годишься для такой тонкой работы. Да и ни к чему она тебе. Вон какой битюг. Лес валить ступай.

И пошел прочь. На углу обернулся. Пришибленный парень стоял все на том же месте и растерянно смотрел вслед Сергею Дмитриевичу.

* * *

На окраине городка, вытянувшегося вдоль горной реки, стоит старый деревянный дом. Черемухи и рябины как будто подпирают его, не давая упасть с косогора. Осыпистый овраг, называемый здесь логом, углом врезался в гору. По дну его сочится вялый светленький ключ, местами совсем скрытый вывалившимся из горы плитняком.

У домика, испуганно притулившегося на косогоре, весной подмыло половину изгороди. Каждое утро, спускаясь к ключу по воду, Сергей Дмитриевич трогал подпорки, поддерживающие прясло над обрывом, и недовольно

хмурился. И теперь, прежде чем открыть ворота, он привычно глянул на лог, в который осыпались земля и мелкие камешки, но задерживаться не стал. Не хотелось портить себе хорошего настроения, с которым он сейчас шел по всему городу, возвращаясь из магазина.

Он жил в этом городе давно, знал его вдоль и поперек, но каждый день открывал в нем что-то новое. На месте недостроенного собора начали воздвигать Дом культуры. Хорошо это, давно пора. Один кинотеатр на весь город, да и кинотеатр такой, что в нем к концу сеанса мухи мрут от духоты. Здание детсада возле железнодорожной линии зеленой краской выкрасили; мухоморов деревянных на детсадовской площадке, как в густом ельнике, и цветов столько, что в глазах рябит. А на площадке ребятишки. «Мордастые все какие и, небось, озорные, стервцы!» — подумал Сергей Дмитриевич, проходя мимо. Он замечает, что за последние годы в этом прокопченном рабочем городе вообще стало много ребятишек и цветов. Всяких мастей цветы и фасонов разных. Перед домами, в палисадниках, во дворах, в скверах, на стадионе — всюду цветы...

Захваченный «цветочной стихией», Сергей Дмитриевич и сам попытался посадить около дома георгину. Купил на базаре георгинную картошку, закопал под черемухой. Выросла дудка с тремя листьями, даже шишечка набухла, но не расцвела.

— Не по нам, значит, такое деликатное дело, — сказал ему сын Юрий, поцарапав затылок.

— Да, знать, это бабье занятие, — сокрушенно вздохнул Сергей Дмитриевич и сделал вид, что отступился. Растут в палисаднике сами по себе ноготки, чемерица, куриная слепота — и ладно. Тоже цветки. Но тайком от сына сходил все же к соседу и выспросил, как и где садят георгины и какое удобрение им требуется.

— Будут у нас и георгины эти самые, — хитро усмехался он, поднимаясь на крылечко и открывая дверь.

Юрий пришел с ночной смены и спал в чулане. Сергей Дмитриевич осторожно приоткрыл дверь в чулан, поглядел на сына. Голова юноши скатилась с подушки. Щеки были чисты, но под глазами осталась копоть. «Торопился, видно, добраться до постели вальцовщик и умыться не успел как следует. Трудна ночная смена», — вздохнул отец.

Грудь Юрия ровно подымалась, и русалка со щучьим лицом то выныривала из-под синей майки, то исчезала под ней. Русалку эту Юрий наколол тайком, подражая отцу, когда учился еще в пятом классе, и долго этим гордился. Сам Сергей Дмитриевич был до того разрисован всевозможными зверьми, стрелами, пронзающими червонных тузов, якорями и разными другими штуками, что на старости лет стал стѣсняться ходить в общую баню и срубил на огороде свою.

Сергей Дмитриевич завесил окно в чулане, чтобы солнце не пекло Юрия, положил сетку с продуктами в кухне на стол, не спеша сходил в огород, выдернул гнездо лука. Включил плитку, выложил на сковородку ветчину, поджарил. Так же неторопливо спустился к ключу, подставил под струю чайник, вымыл руки. Подымаясь на крыльцо, на минуту задержался возле чулана, подумал и тихо позвал:

— Эй, работник, вставать пора, проспийшь все царство небесное!

Юрий открыл глаза, утер губы ладонью, вытянул за ремешок часы из-под подушки и сладко, как мальчишка, потянулся.

— Люблю поработать, особенно поспать. — И улыбнулся с зевком: — Чем, батя, кормить будешь?

— Умывайся дома, — отозвался отец уже из кухни: — в ключе вода нынче шибко студеная. Дашь дуба.

Сергей Дмитриевич любил употреблять стародавние и даже блатные слова. За этим скрывалась неистребимая привычка чуть гордиться тем, что был он когда-то беспризорником и вором, немало хлопот людям доставил, а вот сумел-таки на ноги встать, честно хлеб зарабатывал — и пенсию заслужил. Последние годы работал он на заводе по плотницкой части.

Юрий сбежал к ключу, подставил спину под струю, падающую с осклизлого, подернутого зеленью желоба, и дурным голосом заорал ту самую песню, какую всегда пел при этой процедуре:

Нам полезней
Солнце, воздух и вода,
От всех болезней
Помогают нам всегда...

Сергей Дмитриевич распахнул окно в кухне и снова пообещал:

— Дашь дуба, дашь, дохорохоришься!

Юрий тряхнул мокрой головой и улыбнулся отцу — он знал, что тот любит его и маскирует это грубоватыми шутками.

Они ели со сковородки поджаренную ветчину, и отец будто ненароком перебрасывал вилкой на «Юркин край» нежирные куски, потому что сын жирное не любил. Потом Сергей Дмитриевич налил себе густого чая, а Юрий нацедил из пузатой банки «гриба», залпом выпил кружку и с удовольствием крикнул:

— Хорош! Настоялся...

Юрка приучен был к грибу матерью, которая глубоко верила, что настойка из этого неведомого гриба, неизвестно откуда взявшегося в маленьком уральском городке, способствует здоровью человека, и уверяла, что ее сын мало болел в детстве только потому, что постоянно употреблял такое диковинное питье.

Отец с сыном вдруг погрустнели. Нет матери — умерла в позапрошлом году. Не помог гриб. Остались в старом деревянном домике одни мужики. О матери они почти не говорили. Даже в вербное воскресенье на кладбище — у ее могилы — не проронили ни слова, а посидели, убрали обветшалый венок, навесили на перекладку креста свежий, пихтовый, и ушли.

Сергей Дмитриевич хозяйствовал в доме сам. Он мыл, варил, копался в огороде, постоянно добавлял кипяченую воду в банку с грибом и бросал туда сахару больше, чем бывало, жена.

Дел в доме оказывалось много, однако Сергей Дмитриевич управлялся с ними довольно быстро и начинал ждать сына. Он ждал его с работы, с комсомольского собрания, с вечеринки, из кино — и притворялся спящим, когда Юрий, наконец, возвращался. Вскокивал, правда, сразу, как только сын брался за щеколду ворот, всовывал ноги в старые шлепанцы жены, но затем ждал, пока Юрка забарабанит в ворота нетерпеливо, и только тогда шел открывать. И всякий раз ворчал:

— Так ходуном халупа-то и ходит... Эх, тебе приспичило!

— Ну и здоров ты спать, — удивлялся Юрий.

— А чего мне не спать? — хмурился отец: — Я свое отработал и отгулял, могу теперь и поспать.

— Верно, — соглашался сын и откровенно признавался: — А я сейчас до того спать хочу, что, пожалуй, и ужинать не буду.

— Ну, это ты брось! — сердился отец и потом, наблюдая, как Юрий в угоду ему через силу жует холодное мясо, грозился: — Я вот твою Ритку поймаю и скажу ей, чтоб она не доводила тебя до полного истребления! Еле ноги волочишь. Дойдет дело до свадьбы, отцу придется тебя на закукорках к невесте тащить. Во-о картина будет! — Он подтрунивал над сыном постоянно. Юрий отшучивался. Убрав посуду, отец садился на крыльцо, сын рядом с ним, и они закуривали.

Сидели молча, смотрели на завод. Даже ночью он виден был с горы, только труб обозначалось меньше и кауперы домен, силуэты огромных цехов уходили в тень заречной горы, сливались с нею. Ночью завод слышнее, и шум его более мерный, слитный и торжественный.

Иногда на отвале вспыхивало зарево — там выливали шлак, а то из бессемера с гулом вылетал густой ворох искр, и темный клуб дыма поднимался к низким облакам.

Наступала тишина.

И заводской шум, и крики маневрушек, и лай собак, и урчание экскаваторов на реке были привычны, словно бы и не нарушали ночной покой, не тревожили сна.

— Ну, я пойду, — говорил Юрий и еще с минуту сидел, ожидая, когда отец встряхнется и скажет:

— Ну что ж, давай — жми. А я еще посижу маленько.

— Папиросы на тумбочке! — уже с кровати кричал сын и немедленно засыпал.

— А-а, папиросы, добре...

Сергей Дмитриевич оставался вдвоем с ночью, немного печальный, но успокоенный тем, что сын Юрий тут, рядом. Сын был рядом, и отец думал о нем меньше. Когда же Юрий бродил где-то по городу, занятый своими необходимыми делами: слушал лекции, смотрел кинокартины, танцевал, провожал девчонок и, небось, тискал их, — Сергей Дмитриевич постоянно тревожился о нем, как мать, бывало.

В темную, заполненную ровным шумом ночь Сергей Дмитриевич невольно начинал сравнивать свою жизнь с жизнью сына.

Вспоминалась Сергею Дмитриевичу хаза — заведение

великого вора Эммануила Карловича Луковицкого. Это был интеллигентный мужчина с белыми благородными волосами, с брюшком, с дорогими перстнями на тонких пальцах. Ходил он всегда в накрахмаленной сорочке, с тросточкой и играл на виолончели в оперном театре.

Эммануил Карлович имел маленький особнячок, в котором был великолепно оборудованный подвал: здесь жила небольшая стайка молодых воров, умело отобранная и с высоким профессиональным мастерством вышколенная Луковицким. Беспризорники-подростки, дошедшие с голоду, с отчаяния до мелких краж у рыночных торговцев, попав в заведение Луковицкого, жили в полном довольстве.

О, это была настоящая школа, и «работали» там только счастливики. Ни одного из тех, кто не хотел учиться с Луковицким, или пытался «работать на себя», Сергей Дмитриевич никогда и нигде уже не встречал больше.

Обучал новичков сам Эммануил Карлович — и тут он оказывался истинным артистом, непревзойденным виртуозом. Зеленых, неподготовленных парней Эммануил Карлович никогда не выпускал «на дело». Многими приемами владел «преподаватель» Луковицкий, но вершиной его мастерства были три из них.

Шест с маленькой крестовинкой. На шесте — пиджак. В боковом кармане пиджака — туго набитый бумажник. Нужно вынуть бумажник, не уронив шеста. Затем тот же шест, тот же пиджак, тот же бумажник, но уже с колокольчиком: надо украсть бумажник, или, по-блатному, «лопатник», и не потревожить чуткий колокольчик. И, наконец, последнее, самое трудное и самое страшное испытание: вытащить какую-либо вещь из кармана «самого»! «Учителя» можно было выслеживать неделю-две и уловить момент, который затем давал вору право именоваться достойным сыном Луковицкого.

Если воспитанник не выдерживал экзамена и попался, Эммануил Карлович голосом базарной торговли кричал: «Вора поймал! Бей!» И тогда били неудачника смертно, как бьют на толкучке. Сам Эммануил Карлович не трогал учеников — жалел свои бесценные пальцы.

Хазу Луковицкого долго не могли нащупать, но все-таки однажды накрыли. Сергей был уже почти взрослым

парнем и ненавидел своего хозяина так, как можно ненавидеть только самого лютого врага. Ненавидел за «чуждость», за «воспитанность», за тонкую жестокость, а главное за то, что ради него, хозяина, Сергей обобрал сотни людей и, отработавшая «сладкий хлеб», отдал хозяину множество золотых часов, цепочек, браслетов, денег.

Когда милиция ворвалась в хазу и Луковицкий стал отстреливаться, Сергей ударил его по голове тем самым «испытательным» шестом, который для устойчивости был начинен свинцом, как бильярдный кий.

Давно это было. И было ли? Может, приснилась хаза Луковицкого? Может, это кого-то другого обучали потом в трудовой колонии жить и работать, может, это кто-нибудь другой стоял на границе дальневосточной тайги, а в войну был заряжающим тяжелой гаубицы и громил фашистов? И другой — и все же он самый. Знакомый — и незнакомый. Велика жизнь, сложна жизнь.

К утру на землю опускался реденький стылый туман. От сырости трещали провода высоковольтной линии. Постепенно серел край неба и окаем желтел, накалялся, подпаливая зубцы дальних лесов. Яркую зарю перечеркивала темная полоска той же высоковольтной передачи, которая перехлестывала наискось город и усадьбу Сергея Дмитриевича. Выходило солнце, провода высыхали, треск прекращался. Старик еще прислушивался, ждал чего-то, а сам думал — будить или не будить Юрия? Пусть соберется хоть раз на работу не спеша, по-человечески, а то вскочит, кусок в зубы — и чешет во все лопатки к проходной. «Сегодня он вроде насовсем свободен. Тогда пусть еще поспит, пусть поспит. Сон у него глубокий. Я в юности не спал так. Вор не может спать спокойно».

И сидит на крыльце Сергей Дмитриевич и думает, думает.

После завтрака Юрий начал собираться, надел чистую рубашку, выглаженные штаны. Отец спросил, скрывая недовольство:

— Новая краля?

— Вот еще! — фыркнул Юрий. — Дежурство сегодня у меня.

— Какое еще дежурство?

— На стадионе.

— Да-а, — протянул отец. — Я и забыл, что ты стуча-

чом заделался. Ну-ну, давай лови жулье! Развелось его у нас в городе. Я вон сегодня одного в кармане закорил.

— Отвел?

— Не-е, зачем у вас, бригадмилльцев, хлеб отбивать?— шутил отец. — Я своим методом вора быю — срамлю.

Юрий рассердился, сунул расческу в карман так, что выломился зуб.

— Ну, знаешь, ты или не понимаешь, что вредишь, или...

— Чего-о? — нахмурился Сергей Дмитриевич. — Ты язык-то придержи.

— Чего мне придерживать язык, когда ты ведешь себя как либерал.

— Кто? Кто? — мелко засмеялся отец.

— Либерал, говорю. Значит — не очень полезный обществу человек.

— Вспомнил бы ты пословицу про яйца, что курицу собираются учить. Ли-бе-рал. Хэх, скажет же, грамотей! Не зря я десять лет тебя учил, не зря за худые отметки ремнем драл. Вон ты слово какое выучил, его, не поемши, и не выговоришь.

Юрий насупился. Между темными бровями его сразу образовалась складка, точь-в-точь как у отца, только еще мальчишеская, минутная.

— Слушай, отец, ты не подумай, будто я тебе мораль хочу читать или что. Поговорим-ка по-мужицки...

— Валяй, — сказал отец и поудобнее устроился на крыльце, готовясь к беседе.

— А! — поморщился опять Юрий. — Вечно ты так, с шуточкой. А жулик на твой юмор чихнет и очистит сегодня еще десяток людей.

— Не очистит. Ухватка не та. Дровокол из него может получиться, а вор — ни в коем разе.

Юрий знал, что если отец впал в этот шуточный тон, серьезной беседы не получится.

— Эх, батя, батя... Одиноко, скучно тебе, вот ты и фокусничаешь. Шел бы ты к нам в бригаду.

Сергей Дмитриевич прикурил от папиросы Юрия, закашлялся.

— Жуликов ловить?

— А что? Ты видишь их за три километра. С твоей помощью мы быстро очистили бы город от этого общественного хлама...

— Кудряво говоришь, сынок, — усмехнулся отец. — Карманы очистит, город очистим... — И вдруг ударил сына тяжелой рукой по колену. — Может, у нас с тобой, сын, мораль разная? У меня — старая, у тебя — новая...

— А жизнь одна.

— Жизнь? Что ты еще смыслишь в жизни? Ну, хватит, — поднялся старик. — Пойду картошку копать — это корень всей жизни.

Юрий сердито затоптал папиросу.

— Вот еще с этой картошкой тоже — зачем она тебе? Есть огород, хватит нам его. А ты аж за мост ползешь, мешки таскаешь на себе! Можно сказать, перед лицом общественности меня срамишь. Это тоже метод?

Отец, сворачивая в трубочку мешок, угрюмо произнес:

— Ключ за косяк положи. Денег надо — в кармане моего пиджака пошарь... — И пошел со двора, сутулый, со сморщенной шеей, круто выпирающими из-под рубахи лопатками.

Юрий проводил его взглядом до лога.

— Тоскует старик...

Он подумал о маленьком участке земли за рекой, еще в войну раскорчеванном матерью. До участка от дома километра четыре. Мать с отцом ходили туда вместе. Возвращались усталые, с тяжелой ношей, но вместе, вдвоем. А теперь вот отец ходит один.

* * *

Команда волейболистов прокатного цеха проигрывала доменщикам. Юрий бился, не жалея коверкотовых штанов, шелковой рубашки, повредил пальцы, но прокатчики все равно проиграли.

— Харчиться надо лучше, — сказал капитан команды доменщиков и дал Юрию закурить. — Рыбу почаще употреблять, особенно щуку, тогда реакция появится.

Солнце садилось в заводской дым, расплывшийся по реке и над горами. С гор тянуло предвечерним холодком, и цветы на клумбах, запыленные, быстро вянущие цветы рабочего города, стали робко расправляться и слегка отпотели.

На теннисной площадке играла Рита со своим тренером и поклонником Вадимом Кирюшиным. Вадим был лыс, толстоват, а Рита работала так старательно, что от лысины тренера шел пар.

— Подбрось жару, Риточка! — подбодрил девушку доменщик. — Вадик уже концы отдает.

— Рита, ты ему чаще в правый угол давай, — закричал Юрий. — Слух есть — у него на правому глазу бельмо обозначается, он сам еще об этом не знает пока, а ты пользуйся!

Рита улыбнулась Юрию и подняла ракетку.

— Вадик, сдаюсь!

— Ну то-то же, — сказал насмешливо Кирюшин и пошел с площадки, подбрасывая ракеткой белый мячик.

Юрий дождал, пока Рита приведет себя в порядок. Доменщики ушли, измыываясь над прокатчиками; Вадим тоже удалился.

Рита пригладила стриженные волосы, набросила на плечи жакет. Была она в узеньких серых брючках. Юрий многозначительно хмыкнул:

— Нд-а, если батя увидит тебя — до костей просмеет.

— Твой батя — добрый человек, по-моему, но чудной какой-то.

— Чудной ли — не знаю, но уж с характером.

— Это так, — согласилась Рита и поскорей перевела разговор на другое. Ей хотелось рассказать Юрию про сегодняшнюю встречу с Сергеем Дмитриевичем, но она почему-то не решалась. Впрочем, особенно и не о чем было рассказывать. Встреча была коротенькой.

Рита заметила Сергея Дмитриевича еще издали. Он шел с мешком под мышкой, насунув на лоб старенькую кепку Юрия с коротким козырьком. Кепка придавала ему озороватый вид. Девушка замедлила шаги, чтобы не догнать старика.

Когда Рита еще училась в школе, в одном классе с Юрием, она заходила к нему домой часто и запросто, а теперь вот не может, хотя иной раз очень хочется зайти. Как они живут, одни мужики, она не знала: Юрий не любил об этом говорить.

Она тихо шла следом за Сергеем Дмитриевичем, то приотставая, то почти нагоняя его. Вдруг он обернулся:

— Ну-ка, подойди, гражданочка во штанах!

Рита с деланным удивлением воскликнула:

— Дядя Сергей, а я вас...

— Не узнала? — подхватил Сергей Дмитриевич, и все лицо его залучилось морщинками. — Значит, богатым сделаюсь. — Но тут же напустился так, что глыбистые

надбровья почти скрыли глаза. — Ты вот что, гражданочка, скажи, пошто Юрку голодом моришь? Пошто выспаться ему не даешь?

Рита вспыхнула и даже остановилась, не зная, шутит ли старик или всерьез корит ее.

— А я что? Я ничего...

— Да я знаю, что ты ничего, давно знаю... Только волосы-то вот зря обкарнала. — И старик словно ненароком дотронулся до ее головы. Рита ощутила легкое прикосновение грубоватых и в то же время ласковых пальцев и притихла. Сергей Дмитриевич смутился.

— Эка мода пошла. Под кобыльи хвосты волосья ладят. Срубила за граница русскую косу. — Помолчав, тихо вздохнул: — У моей жены в молодости косища-то была во-о! Во всю спину...

Должно быть, старику хотелось поговорить, но они уже дошли до стадиона, и Рита простилась:

— До свидания, дядя Сергей.

— Доброго здоровья, — приподнял кепчонку Сергей Дмитриевич. — Шарик идешь бросать?

— Да.

— Ну-ну, и то занятие. Каждому свое. Я вот тоже по шарик иду, — тряхнул старик мешком и бросил на ходу: — Захаживай когда!

— Спасибо, зайду, — несмело пообещала Рита и свернула к воротам стадиона.

И все время, пока она играла в теннис с Вадимом, не шел у нее из головы Сергей Дмитриевич, и что-то смущало ее, и что-то холодило в груди.

Она украдкой взглянула на Юрия и порывисто прижалась к нему.

— Ох, Юрка, беспокойно мне что-то...

— Фантазии, — буркнул Юрий и отвернулся. — Ты теперь куда?

— Да никуда. Здесь еще поболтаюсь, мне на работу с двенадцати. — И, не умея скрывать, призналась: — Хочу с тобой побыть, ты ведь сегодня дежуришь. — Что-то вспомнив, она тревожно добавила: — Слушай, Юра, тот тип здесь шляется со своими шестерками, или как вы их называете...

— Какой тип?

— Да Яшка Поплоухин.

— А-а, — протянул Юрий и сжал зубы. — Дошляется.

Яшка Поплоухин — бывший футболист, а нынче, как говорится в газетных заметках, человек без определенных занятий. Дня два назад он подкараулил Юрия у выхода из городского парка и предупредил:

— Фрайер! Наколюшку схлопочешь, попомни, подлюга, — и удалился, напевая:

Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила морду мне, часы сняла-а-а...

Бригадмилыцы догадывались, что Яшка и есть тот самый «резидент», возле которого группируется городская шпана и ворье, но никак не могли поймать его с поличным. Увертлив Яшка. Юрий с комсомольско-молодежной бригадой прокатчиков, которая взялась помогать милиции, вот уже с неделю выслеживал Яшку, и тот, очевидно, заметив это, пытался припугнуть ребят. «На слабые нервы рассчитывает, нахрапистый гад! Все равно попадетсЯ. Может, даже сегодня попадетсЯ», — подумал Юрий.

Рита тронула его за рукав и попросила подождать минутку, пока она отнесет ракетку в спортзал. Юрий закурил и остановился около круглого киоска, возле которого была устроена полумесяцем клумбочка с цветами. Он ждал Риту и своих ребят-бригадмилыцев, которые по уговору должны были собраться здесь.

За киоском послышалась возня. Юрий бросился туда и увидел двух парней, взявшихся за грудки. Почему-то они дрались молчком. Это было странно — не в характере русских людей драться без шума. Четыре парня, прикрыв глаза кепками, наблюдали за дракой. Шевельнулось подзрение, но раздумывать было некогда.

Юрий встал между дерущимися, расцепил их руки...

* * *

Чуть согнувшись, Сергей Дмитриевич брел с огорода, утомленный и потный. Мешок, разделенный веревкой по середине, давил равно на спину и грудь. Возле стадиона старик свалил мешок на скамью и достал папиросу. Тут он увидел Риту — она мчалась куда-то со всех ног.

— Гражданочка... — насмешливо завел было Сергей Дмитриевич.

Рита подскочила к нему, и старик увидел побелевшее лицо и широко раскрытые глаза.

— Дядя Сергей! — закричала она на всю улицу. — Дядя Сергей!.. Юра...

Сергей Дмитриевич забросил мешок на плечо, побежал, опомнился, тряхнул плечом — мешок свалился, ударился о бетонную тумбу, треснул по швам, картошка покатила во все стороны. Рита стала ее собирать, но тут же опомнилась, охнула и побежала к зданию милиции с картофелиной в руке.

А Сергей Дмитриевич уже ворвался на стадион, растолкал людей.

— Где?

И вдруг увидел цветочную клумбу возле киоска. Цветы на клумбе были растоптаны, белены кирпичи вывернуты из земли. На кирпичах, на белых астрах, на пышных георгинах — брызги крови. Клумба поплыла в сторону, кирпичи поплыли, рассыпались, кровавые пятна заслонили глаза...

...Его отпаивали фруктовой водой из бутылки. Вода была красная, и старик не мог ее проглотить, она хлынула обратно изо рта на рубаху и пиджак.

Из уборной выскочил парень в серой спортивной куртке. Старик увидел его, узнал, схватил кирпич.

— Размозжу-у!

И так грозен был этот крик, что парень споткнулся, упал, прикрыв голову руками.

— Дяденька, это не я!.. Я только за руки держал...

* * *

Он сидел неподвижно на скамье в больничном скверике, и никто его не прогонял, никто не беспокоил, не пытался утешать. Сергей Дмитриевич как-то сразу сдал, еще больше ссутулился и весь обмяк. В опущенной руке он вяло держал ниточную сетку, с которой постоянно ходил в магазин. Из сетки торчали старые шлепанцы, виднелась стеклянная банка с ягодами.

К Юрию его не пускали. Вышел человек в халате. Изпод халата виднелись кальсоны без тесемок, с больничным штемпелем на штанине. Больной начал говорить про хулиганов, увязывая этот вопрос с текущей политикой, и сообщил, что привезли парня-прокатчика, и у него проколото насквозь легкое, и весь он исколот.

Бросив окурок, больной свирепо выругался:

— В спину били, длинным шилом били. За нож они знают, что присудят. Так они вон какое оружие придумали, чтобы не покарали, значит. Теперь у него воздух под кожу идет...

Сергей Дмитриевич встал со скамейки и в коридоре больницы остановился перед дежурной. Он не просился. Он только смотрел на дежурную, за спиной которой на стенке висел плакат; на нем изображено растение и написано: «Собирайте спорынью!»

Ни плаката, ни спорыньи, ни дежурной Сергей Дмитриевич не видел. К дежурной подошла седая женщина в белом халате, со вздохом глянула в сторону Сергея Дмитриевича и что-то тихо сказала. Сергей Дмитриевич сделал шаг за барьерчик, отвел рукой седую женщину в белом халате и дежурную.

— Куда? — послышалось ему вслед...

Никто не показывал Сергею Дмитриевичу ту палату, где лежал Юрий, однако старик сразу нашел ее и вошел именно в нее. Только вот в палате он не смог разом сыскать сына.

Больные почему-то не охали, не стонали. Сергей Дмитриевич остановился — и сердце его остановилось.

Одна кровать, другая.

Сергея Дмитриевича качнуло. Он схватился за спинку ближней кровати и услышал:

— Там... У окна...

Он посмотрел туда, куда ему показывали. Изголовье крайней кровати было приподнято на подоконник. На кровати, обложенный подушками, почти стоял на ногах человек. Лицо его было вздуто, шея сделалась толстой, слилась с подбородком, грудь — бугром. И на этой груди, будто на ленивой волне, покачивалась огромная русалка. Лицо у нее стало не щучьим, а налимым, и грудки, наколотые в виде конских подковок, пошевеливались, как плавники.

Натыкаясь на тумбочки, койки, Сергей Дмитриевич подошел к окну и, боясь приблизиться к сыну, остановился. Тяжелые, как у отца, надбровья нависли низко, закрыли глаза Юрию — он не мог поднять веки. Только распухшие губы его медленно расклеились и едва прошепестело:

— Это ты?

Сергей Дмитриевич не отвечал. Он стоял с беспомощно открытым ртом, рывками, по-рыбьи, сглатывал воздух.

— Сядь, — глухо, будто рот у него полон ваты, произнес Юрий, и от этого простого домовитого слова Сергей Дмитриевич очнулся.

— Я сяду-сяду, — заторопился он и осторожно опустился на край стула у кровати. — Я тебе вот шлепанцы материны принес, казенные-то, небось, жесткие... И бруснички принес... Брусника при любой болезни и с похмелья — первое средство...

— Тяжело мне, папа...

Сергей Дмитриевич дернулся к сыну, но, страшась коснуться его, добавить ему боли, схватился не за руку, а за ножку кровати.

— Ты чего? — встревоженно спросил Юрий и пошевелил пальцами, пытаясь поднять руку. Сделав усилие, он поднял ее к лицу, отвел вздувшееся веко. Отец потрясенно смотрел в узенькую щелочку, открытую толстым пальцем. Из этой щелочки чуть светился измученный темно-карий глаз сына, и столько боли таилось в нем, что Сергей Дмитриевич не выдержал, схватил его руку. И эта рука опустилась на голову отца, придавила ее к кровати.

— Ты чего так ослаб? Ты ведь у меня мужественный старикан... — с трудом вымолвил Юрий, и что-то похожее на улыбку искривило его губы.

— Какой я мужественный! Какой я мужественный!.. — закричал отец. — Убить меня мало!.. — Он почувствовал, что его берут под руки, уводят. — Нет, я здесь буду... Я тихо буду... Честное слово, тихо, — лепетал старик, сопротивляясь.

И опять Юрий еле слышно сказал:

— Держись, отец! Мы еще поборемся... держись...

Сергей Дмитриевич не помнил, как вывели его во двор больницы, как посадили на скамью. Он остался один. Неизвестно, сколько времени он пробыл здесь. Его тронули за рукав, и он поднял голову и долго не мог различить, кто перед ним стоит, только цветы сразу увидел. Маленький букет астр. Сергей Дмитриевич наконец узнал Риту, ткнулся в ее остренькую грудь.

— Ох, дочка! Как же нам теперь быть-то?..

Она притиснула голову старика обеими руками и растерянно твердила:

— Дядя Сергей, что вы? Дядя Сергей, что вы?!

Он быстро ослаб, обессилел и с укоризной сказал:

— Красных цветков нарвала. Других не нашлось, что ли?

Рита испуганно взглянула на белые астры и незаметно отбросила их за спину.

— Вам надо отдохнуть, дядя Сергей, отдохнуть...

Сергей Дмитриевич, как бы просыпаясь, огляделся кругом, глаза его остановились на белом букете, упавшем в траву:

— Блазнится... Ничего... Будем держаться...

Рита помогла ему встать. Он долго шел, ни о чем не спрашивая, не упираясь, и уже в городе пошевелил раскрескавшимися губами:

— Куда ты меня?

— Домой... Я... Я с вами буду... Вместе. И потом, когда Юра вернется... Ну... тоже вместе...

— Вместе? Вместе хорошо. — Сергей Дмитриевич стиснул руку девушки.

Они шли к домику, что стоял на косогоре, возле светлого ключа.

Навстречу им попадались люди. Они о чем-то судачили, куда-то спешили с кошелками, с сумками, с портфелями. Это покорило старика. Кровь пролилась! Родная кровь, а они ходят спокойнехонько, как ни в чем не бывало.

А после, когда до него постепенно дошло, что кровь пролилась ради спокойствия этих вот людей, спешащих с работы и на работу, по своим неотложным делам, — протяжно вздохнул и подумал: «А жизнь одна, едина у всех. Ах ты, Юрка, Юрка, сын ты мой, паренек ненаглядный...»

Старик трудно волочил ноги. Голова его медленно клонилась, пригибала к земле и ласковые, непривычно нежные слова, каких он еще никогда не говорил сыну, так и колотились в голове, так и просились наружу, какие-то бабьи и в то же время единственно нужные сейчас слова. Их непременно надо сказать завтра сыну и кровь на переливание предложить. Своя кровь — она горячее и живучести в ней больше.

Вспомнив про кровь, старик сразу уверовал в чудо, приподнял голову.

По улице все так же спешили люди, о чем-то говорили, смеялись, бранили шоферов и кондукторов, штурмуя автобусы; пили квас из единственной в городе новой тележки с никелированными оглоблями; стояли длинной очередью у кинотеатра. Жизнь шла своим чередом, шла без остановки.

И как в прежние дни, вдоль тротуара, возле детских садов, на стадионе, в палисадниках и даже на балконах домов в узеньких ящичках росли цветы.

Всюду росли цветы.

1959



АРИЯ КАВАРАДОССИ

Весной сорок четвертого года наша часть после успешного наступления заняла оборону. Мы окопались на давно не паханном поле. Выдолбили ячейку для стереотрубы и вывели траншею в ближний лог, где еще лежал серый как пепел снег и росла верба.

Чуть влево раскинулась небольшая деревня. Население из нее эвакуировалось в тыл. Когда расцвели сады, эта деревня, облитая яблоневым и вишневым цветом, выглядела особенно пустынно и печально. Деревня без пугающих криков, без мычания коров, без босоногих мальчишек, без песен и громкого говора, даже без единого дымка и вся в белом цвету — такое можно увидеть только на войне. Лишь ветер хозяйничал на пустынных улицах и во дворах.

Он приносил к нам такие запахи, от которых мы впадали в грусть или в отчаянное веселье и напропалую врали друг другу о своих любовных приключениях. Выходило так, что у каждого из нас их было не меньше, чем мохнатых шишечек на той вербе, что распустилась в логу. Многие бойцы нашего взвода попали на фронт прямо со школьной скамьи или из ремесленного училища и, конечно, желали любить и быть любимыми хотя бы в мечтах. Должно быть, потому-то старшие товарищи никогда не уличали нас в этой, если так можно выразиться, святой лжи! Они-то знали, что некоторым из нас и не доведется изведать невыдуманной любви.

А весна все плотнее окружала нас, звала куда-то, чего-то требовала. Ночами лежали мы с открытыми глазами и смотрели в небо. Там медленно проплывали зеленые огоньки самолетов и помигивали такие же бессонные,

как и мы, звезды. Притаилась война в темноте, залегла. Даже слышно, как быстро и слитно работают в дикой, реденькой ржи кузнечики, а в логу, должно быть на вербе, неугомонная пичужка, будто капельки воды из клюва, роняет: «Ти-ти, ти-ти». И похоже это на: «Спи-те, спи-те». Да какой уж тут сон, когда в душе сплошное беспокойство, оттого что сады цветут, когда бесчисленные кузнечики, будто надолго заведенные часики, отсчитывают минуты и целые весенние вечера, уходящие безвозвратно.

Пальба на передовой была лишь в первые дни, а потом как-то сама собой угасла и только изредка поднималась запыленная перестрелка или хлопал одинокий выстрел, вспугивая вешний перезвон птиц. Солдаты отоспались и теперь с утра до вечера строчили письма, смотрели затуманенными глазами туда, где нет окопов и траншей — дальше войны.

Иногда на передовой появлялась агитмашина и, когда опускалось солнце, над окопами разносился голос сдавшегося в плен арийца. С усердием уцелевшего на войне человека он призывал своих братьев последовать его примеру. Не знаю, как фашисты, а мы с досадой слушали эту агитацию. Должно говорил немец, а мы считали, что лучший оратор тот, который укладывает свою речь в два слова:

«Гитлер — капут!»

Немцы тоже вывозили на передовую свою агитмашину. Теперь уже пленный Иван, в глаза которого всегда хотелось взглянуть в эти минуты, конфузливо спотыкаясь, пространно уверял нас в том, что на немецкой стороне не житье, а рай, и что неудачи их, дескать, временные, и что Гитлер уже двинул на восток «новое» секретное оружие...

Потом немцы крутили пластинки. Проиграв для заправки два-три победных фюреровских марша, они переходили на наши песни. Впоследствии мы узнали, что на этом участке в обороне было много итальянцев, которые уже не воспламенялись при звуках браво́й музыки «райха», а своих, неаполитанских, должно быть, при себе не было. Вот они и заводили наши: «Катюшу», «Ноченьку», «Когда я уходил в поход». Играли они и старые русские романсы: «О, эти черные глаза, кто вас полюбит», «Вот встпхнуло утро, румянятся воды».

А уже подходил к концу май. На одичавшем ржаном поле широко открыли яркие рты маки, засветились голубые огоньки незабудок и васильков. От сурепки и лютиков желто кругом.

Пчелы, майские жуки, божьи коровки летали до позднего часа, обивали пыльцу с цветов; на вербе требовательно запищали птенцы, и маленькая мама со смешным хохолком на макушке хлопотала целый день, добывая пропитание своему голосистому семейству. Вишни и черешни побурели. Завязи на яблонях окрепли, в налив пошли. Травы стояли по пояс. Пошлют солдата охапку травы накосить для маскировки — он целую поляну выпластает — забудется человек. Природа, не взирая на войну, продолжала цвести, рожать и плодоносить.

Стоишь, бывало, на посту или у стереотрубы дежуришь и такое раздумье возьмет насчет войны, насчет дома и всего такого прочего, что природу начинаешь чувствовать и понимать совсем не так, как раньше. Ну что для меня прежде могли значить эта верба, эта желтогрудая пичуга? Я бы и не заметил их.

Сиюю я однажды у стереотрубы, размышляю, тоскую и смены жду. А смена будет среди ночи. Время тянется медленно. Вот зорька дотлела. Последние жаворонки оттрепетали в небе, камешками пали в траву, затаялись до утра. Только перепела перестукивались, да из окопов слышался солдатский смех, звон железа и шарканье пилы. Солдаты — народ мастеровой. Сейчас всяк своим ремеслом удивить хочет.

Темненько уже стало, трава влагой покрылась, прохладой из лога потянуло. Свалился я на землю и вдруг слышу: впереди, в пехотной траншее, кто-то запел:

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают...

Я еще никогда не слышал этой песни. Новые песни ведь медленно на передовую пробирались. Но все, что в ней было, все, о чем она рассказывала, я уже знал, переживал, выстрадал, и думалось мне: «Как же это я сам не догадался спеть эту песню! Ведь про себя-то я пел ее, дышал ею».

Мне не хотелось шевелиться, я даже дышать громко боялся. Но я не мог слушать один, не мог не поделиться с товарищами тем, что переполняло меня. И я уже хотел

бежать и разбудить их. Но они сами почувствовали песню, сидели на бровках окопов и, когда я подбежал к ним, зашикали на меня: «Слушай!»

И я слушал.

Смерть не страшна...

Чепуха это! Смерть не страшна только дуракам. Но он все-таки молодчага, этот поэт. Он сказал: «Ты меня ждешь!» — и мы простили ему всё, потому что сразу сделались добрей, лучше. Нам хотелось сообщить друг другу о том, что вот мы услышали то, чего хотели, что наши сомнения и тревоги напрасны. Нас ждали и ждут.

— Кто ее сочинил, эту песню? Кто слова-то такие душевные составил? — спрашивали солдаты.

«Да не все ли равно! — думалось мне. — Скорей всего наш брат, фронтовик. Никому другому не под силу было бы заглянуть так глубоко в наше нутро и зачерпнуть там пригоршни скопившихся дум-мелодий»;

Как мы жалели, что и у этой песни тоже есть конец и что певец из пехотного окопа замолк, обрадовав и расстроив нас.

Солдаты стали расходиться. А мне хотелось еще услышать песню и я сидел, ждал. Те солдаты, что помоложе, топтались, курили и тоже ждали чего-то.

— Еще давай! — закричал один из них неожиданно в темноту, но никто не отозвался.

А я, да и, наверное, не только я, молча требовал, просил, чтобы песня была повторена. С губ были готовы сорваться такие слова, какие в другое время мы посчитали бы «бабыми».

И он словно бы услышал нас. Он откликнулся. Оттуда же, из пехотного окопа, тихо и печально раздалось:

Горели звезды...

Опять звезды! Но это была какая-то совсем другая песня. Она звучала еще печальней первой. В тихой природе сделалось еще тише, даже по ту сторону фронта вроде бы все замерло.

..О, сладкие воспоминанья... —

с тревогой, в которой угадывалось что-то роковое, вымолвил певец; и нам стало жаль его, себя, тех, кто не дошел до этого поля, заросшего дурманом, не слышал этой

песни, и тех, кто остался там, в сибирских и уральских деревушках, одолевая в трудах и горестях тяжкие дни войны.

— «Тоска»! — прошептал сидящий рядом со мной боец.

Но тогда я не знал, что это название оперы, и понял его как русское слово «тоска», и согласился.

Не знаю, артист ли пел в окопе. Скорей всего простой любитель пения. Голос его не был совершенным. Но хотел бы я увидеть профессионального певца, который хоть раз в жизни удостоился бы такого внимания, такой любви, с какой мы слушали этого неведомого нам молодого парня. А в том, что он был молод, мы не сомневались. Иначе не смог бы человек так тосковать, так взвизгивать до самой высокой выси и тревожить своим пением не только нас, но, кажется, и звезды далекие. Как ему хотелось жить, любить, видеть весну, узнать счастье! И нам тоже хотелось, и потому мы слились воедино. Он замирал — и мы замирали! Он боролся — и мы боролись! Но певец все ближе и ближе подводил нас к чему-то, и в груди у каждого становилось тесно. Куда это он нас? Зачем? Не надо! Не желаем! Но мы были уже подвластны ему. Он мог вести нас за собой в огонь, в воду, на край света!

..Но час настал,
И должен я погибнуть,
И должен я погибнуть,
Но никогда я так не жаждал жизни!..

Я уже потом узнал эти слова. А тогда я расслышал только великую боль, отчаяние и неистребимую, всепобеждающую жажду жизни!

Лицо мое сделалось мокрым, и я отвернулся от товарищей.

И вдруг по ту сторону фронта послышались крики, непонятные слова: «Русс — bravo! Италиана — вива! Пуччини — Каварадосси — Тоска — вива!..»

Неожиданно в окопах противника шелкнул выстрел. Он прозвучал, как пощечина. В ответ на этот выстрел резанул спаренный пулемет из траншеи итальянцев, хлопнула граната. Нити трассирующих пуль частой строчкой начали прошивать ночь, пальба разрасталась, ширилась, земля дрогнула от взрывов.

Мимо меня промчались люди; кто-то из них крепко, по-русски, ругался и повторял: «Не трожь песню, гад! Не трожь!..» Я не помню, как очутился среди этих людей и помчался навстречу выстрелам. Я тоже что-то кричал и строчил из автомата. Впереди слышались голоса: «Мины! Мины!» Но уже ничто не могло удерживать разъяренных людей. Они хлынули вперед, перемахнули нейтральную полосу, смяли боевые охранения, ракетчиков, заполнили передовые траншеи противника и с руганью ринулись на высоту, которую мы не смогли отбить у фашистов ранней весной.

Здесь уже затихала схватка. Навстречу нам выпала большая группа людей и побросала оружие.

Потом сделалось тихо-тихо. Даже ракеты в небо не взвивались.

Помаленьку обстановка прояснилась. Оказывается, между немецкой «прослойкой», оставленной для «укрепления», и их союзниками-итальянцами произошло столкновение. Италиянцы перебили фашистов из заградотряда и сами сдались в плен.

Утром мы перемещали наблюдательный пункт на отбитую высоту. Я тянул линию, шагал по ржи, заросшей маками, татарником, лебедой. За моей спиной трещала катушка.

Перепрыгнув через глубокую траншею, я увидел убитых в ночном бою солдат.

Ближе других лежал чернокудрый парень в черном мундире; изо рта его тянулась густая струйка крови. Спал чужой солдат сном вечным, не смаргивая мух, воровато обшаривающих его запавшие глаза. «Уж не он ли это первый крикнул «Вива!», услышав музыку родной земли?» — подумалось мне.

А совсем близко от итальянца, широко раскинув руки, лежал и глядел открытыми глазами в небо русский солдат. Казалось, он ловил солнце, падающее с небес ржаным снопом. Усики только чуть почернили его верхнюю губу. Он был совсем-совсем молод. «Возможно, этот парень, этот солдат и пел ночью?» Я задумался, а потом смежил пальцами холодные веки солдата.

Похоронили мы его и итальянца под вербой. Хохлатая пичужка с опаской глядела на свежий холмик и не решалась подлететь к гнезду. Но вскоре пообвыкла и снова захлопотала, зачлуккала.

...Это было давно, в войну. Но где бы и когда бы я ни слышал арию Каварадосси, мне видится весенняя ночь, темноту которой вспарывают огненные полосы, притихшая война и слышится молодой, может, и не совсем правильный, но сильный голос, напомнивший людям о том, что они люди, лучше агитаторов сказавший о том, что жизнь — это прекрасно и что мир создан для радости и любви!

СОДЕРЖАНИЕ

Стародуб — повесть	3
Солдат и мать — рассказ	78
Живая душа — рассказ	92
Глухая просека — рассказ	102
Коршун — рассказ	109
В страдную пору — рассказ	121
Жил на свете Толька — рассказ	136
Кровь человеческая — рассказ	153
Ария Каварадосси — рассказ	170

Виктор Петрович Астафьев
СТАРОДУБ

Редактор *В. В. Воловинский*
Художник *А. Н. Тумбасов*
Худож. редактор *М. В. Тарасова*
Техн. редактор *К. Г. Филипова*
Корректор *М. Ф. Кузьмичев*

Формат 84×108 ¹ / ₁₆	2,75 б. л.	5,5 печ. л.	Усл.-прив. 9,2	Уч. изд. л. 9,4
ЛБ03353		Тираж 30000 экз.		Цена 4 р. 75 к.

2-я книжная типография обьполиграфиздата.
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 64.

Цена 4 р. 75 к.

С 101
— 48